



БЕЗУМИЕ

ЕЛЕНА КРЮКОВА

Елена Николаевна Крюкова

Безумие

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22981682

Безумие: Нобель-пресс; Москва; 2015

ISBN 978-5-519-25197-6

Аннотация

Где проходит грань между сумасшествием и гениальностью? Пациенты психиатрической больницы в одном из городов Советского Союза. Они имеют право на жизнь, любовь, свободу – или навек лишены его, потому, что они не такие, как все? А на дворе 1960-е годы. Еще у власти Никита Хрущев. И советская психиатрия каждый день встает перед сложностями, которым не может дать объяснения, лечения и оправдания.

Роман Елены Крюковой о советской психбольнице – это крик души и тишина сердца, невыносимая боль и неубитая вера. Русские и мировые писатели не раз обращались к теме безумия. Автор пытается приоткрыть завесу над тайнами человеческого разума, но главной нотой в этой драматической симфонии остается нота сочувствия, человечности, понимания.

Содержание

Книга первая: Корабль

5

Конец ознакомительного фрагмента.

204

Елена Крюкова

Безумие

© Крюкова Е. Н., текст, 2015

© «Нобель-пресс», издательство, 2015

* * *

Книга первая: Корабль

*Раскутай простыню боли
Ты – голый под ней
И выпей из кружки что ли
Красных огней*

*Ты выжал время тряпкой
Ты – сутемь и суд
Четыре безумных бабки
В гробу понесут*

- Дай сюда звезду.
- Да даю, даю!
- Вот она, красивенькая, блестит как. Оп! Получилось!
- На вот рядом с ней медведя.
- Нет, тут лучше часики.
- Брось ты свои вшивые часики. Гляди, какой красивый!
- Все, часы висят! Тикают!
- У тебя под носом тикают.
- Давай танк! Давай, давай!
- На! Держи! Только не ори!
- Ой, елки, я укололся!
- Это на пользу!
- Как пчелиный укус, хочешь сказать?
- Да ничего не хочу! Вот танк! Качается!

- Загляденье!
- Да ведь еще целых две коробки.
- Да. Много еще.
- До вечера провозимся.
- Дурак ты! Не умеешь удовольствие растянуть!
- Сама дура!
- Дура, дура. На ракету держи!
- Ох! Серебряная!
- А ты на зуб попробуй! Ха, ха!
- У нее ниточка тонкая. Оборвется.
- А ты волос из головы выдери и на волос привяжи!
- Шутишь!
- А то!
- Товарищи, дождь! Где дождь?!
- А он отдельно! В ящике с ватой!
- Где дед Мороз, что ли?
- Да дед-то вот он уже! Вот! Глаза разлепи!
- Ты ему к валенкам цепь присобачил?
- А зачем?
- А по-твоему, как дед будет на потолке держаться? Приклеим?
- Да, елки... Забыл!
- Дурачок, твою мать!
- А что, он так и будет вниз башкой висеть?
- Ты будешь висеть! Понял?
- Понял! Как не понять!

- На Луну!
- Это не Луна! Это спутник!
- Какой еще спутник?
- Искусственный! Бип-бип!
- Точно, рожки у него!
- Это у тебя рожки!
- Убью!
- Это я тебя убью!
- Товарищи, не ссорьтесь! Стыдно!
- Какой красивый помидорчик!
- Это не помидор. Это голова!
- Какая еще голова?
- Отрубленная!
- Товарищи, мне плохо!
- Нет, это яблочко! Красное яблочко! На откуси!
- Сам откуси!
- А ну-ка отними!
- Сам жри!
- Я стеклом подавлюсь.
- Ага, значит, соображаешь еще.
- Выстрелите, елки, в яблочко! Пиф-паф!
- Повесь винтовку. Винтовку, говорю, повесь!
- Давай. Штык так блестит! Я аж зажмурился!
- А вот фонарик, вот фонарик! И еще один! Какой лучше?
- Оба хороши! Мы их на верхние ветки! Чтобы все любовались!

– На котеночка!

– Ой, хорошенький какой!

– Жил да был черный кот за углом... И кота ненавидел весь дом...

– И мяукает!

– Врешь и не краснеешь!

– Вот как здорово висит! Коготки выпустил! Язык высунул!

– Держи гольша.

– Ой какой пупс! Чудесненький! Гладенький! Толстый!

– Здоровый ребенок. Повесила?

– Дай художника с палитрой! Вон лежит!

– С поллитрой?

– А я вешаю крокодила! Крокодила! Только у него ноги человеческие!

– Осторожно! Палец откусит!

– На вот фонарик серебряный. Да держи, чуть не уронил!

– Это не фонарик! Это зеркальце карманное!

– Оп, солнечного зайца пустил!

– Прекрати! Ты меня ослепил!

– Держи ручку с пером. Не уколись. Вешай быстрее!

– Да уж повесила. Вечное перо!

– Ой, шишечка, шишечка...

– А это зачем еще? Лапоть! Товарищи, лапоть, глядите!

– Ха, ха, ха!

– Пережиток прошлого!

- На пирожок похож.
- А вот баба, а башка лисья!
- Сватья баба Бабариха!
- Не баба, а женщина!
- Врешь опять! Не женщина, а товарищ!
- Товарищи! Мы все товарищи!
- Что вешаешь-то?! Обалдел совсем! Выбрось сейчас же!
- А что такого? Блестит же!
- Да это же крест! Нательный! У кого спер?!
- Я не спер! Не спер!
- Нет, спер!
- Да не спер, вот, перекрещусь, не спер!
- Крестишься, советский гражданин?!
- А как поверишь?
- Выкинь к черту!
- Товарищи, а красивый какой! И блестит так! Давайте оставим! Пусть!
- Ну, пусть! Черт с вами!
- Скажем: дореволюционный! Ну как музейный!
- В музеях иконы держат! И ничего!
- У мамки моей вместо иконы – Маркса портрет! И опять ничего!
- А теперь что подать?
- Нагнись над коробкой-то! Глазами пошарь!
- А может, руками?
- Ногами! Не видишь, что ли!

– Что?

– Слепой!

– Пошел отсюда!

– Сам пошел!

– Не пойду!

– Что орешь, как на базаре! Дай лучше сюда знамя!

– Какое знамя?

– Не видишь, сверху лежит! Пылает, ослепнуть можно!

– Ну вот я и ослеп. Не вижу!

– Ну, красное! С золотыми кистями! А древко мальчик держит!

– А, вижу! На! А мальчик кто?

– Ты что, себя не узнал?! Ха, ха, ха!

– Черт! Я опять укололся! Иголлка под кожу вошла! Она уж по крови бежит! Теперь врачи не вынут!

– Захотят и вынут. А не захотят...

– Ну, повесил знамя?

– Повесил! Вот! На крепкой леске! На рыболовной! Не сорвется! Издалека видать!

– Дай сюда кремлевскую башню.

– Это какую?

– Красную! Блестками посыпанную!

– Да даю, даю!

Открыть бутылку зубами. Зуб сломается? Не сломается, крепкий. Белое крепкое веселье, ты не выплесни его. Оно такое драгоценное. Дорогое.

Три рубля с полтиной, и еще гривенник, и еще две копейки – жаль, по автомату не позвонишь уже никому. Три-шестьдесят-две.

– Манита-а-а-а-а! Танцу-у-у-уй!

Ты встаешь и подбочениваешься. Закинув голову красиво, делаешь красивый, крупный, большой глоток. Бутылка блестит в руке, пальцы крепко сжаты, добела, досиня.

Ты видишь себя в зеркало. Синий рефлекс на щеке. Синяя жила на шее. Бьется.

И глаза твои бьются, горят.

Ты не отдашь свою жизнь так просто, за пятак, за понюх табаку. Хотя когда денег нет – боже, как охота курить! Не жрать. Не танцевать. Не возить кистью по холсту. А смолить.

Дымить и погибать в крутых, густых, серых, синих, снеговых клубках дыма.

Воздух твой дым, волосы твои дым. Черные, страшные, грозные, лохматые, – туча, а в ней молнии седины. Жизнь твоя гроза, и ты гремишь и гудишь, и ты исходишь красками и поцелуями, сходишь на нет, а за спиной – тенью – она. Та, что придет за тобой.

Она не в белом халате. В черном.

Зажмурься и не гляди на нее. Лучше станцуй ей.

Свет из угла: в пустой консервной банке – все шпроты подъели, и грязная вилка пьяно рядом лежит, уснув – длинная амбарная свеча. Белый парафин оплавился, края мягко сползают вниз, настаивают угрюмыми сталагмитами. А свет – вверх. Пронзает табак и мрак. Наставляет острие горе. В потолок. И в потолке – дыру прожжет. И в дыру выйдет весь людской смог. Весь перегар. Весь запах кольцами нарезанного лука. Весь ужас зубастого, хищного хмельного поцелуя. Все крики, поздравленья и скандалы. Весь, до крошки и капли, тихо сочащийся вокруг, в никуда, плач – то ли женский, то ли детский.

Ты тоже была ребенком. Когда-то.

Все когда-то были детьми. Но это уже неважно.

Лампа под абажуром перегорела. Мрачно виснут бахромой инея пыльные шелковые кисти.

Кисть абажура. Кисть скатерти. Кисть руки.

Колонковая кисть; свиная кисть, мощная щетина.

Только такими кистями и можно написать жизнь.

Что?! Жизнь?! Да разве сейчас разрешено писать жизнь?!

Дьявол! Не жизнь разрешено сейчас писать! А ее жалкое подобие!

Не холсты надобны, а транспаранты!

За плакат – заплатят. За обнаженку – посадят!

Врешь, уже не посадят. Уже... не...

Мужчины ловят тебя за локти. За подол. Задирают платье твое.

Под тканями – под бездарными нищими драпировками – богатая, щедрая обнаженная натура. Выпуклые мышцы. Четкие резкие ключицы. Железные икры. Веревочные сухожилия. Налитые чугунные груди. Шея торчит башней. Ползут змеями волосы. Узор первых морщин – по впалым голодным щекам. Манита, ты больше пьешь, чем ешь! Поела бы хоть что-нибудь!

К чертям еду. Есть не хочу.

Повернулась, взмахнула рукой с бутылкой. Сама потянула подол вверх, к животу. Сверкнул бутылкин бок, мазком перламутра внутри раковины, и объем тут же потерял свой выгиб, сделался нутром, ямой. На дне ямы плещется водка. Это твоя вода. Витька Афанасьев тайком, в области, в глухой деревне, расписывал храм – писал Христа, ходящего, руки раскинув, по синему морю. Вранье! Сказки для детского сада. Детки, не пишите в штанишки, а то придет злой дядя Витя Афанасьев и всех вас нарисует! Как вы по воде по приказу ходите, ревете коровой, боитесь утонуть.

Что нарисует – то и сбудется.

Под складками красивого замызганного платья – лучшая портниха Горького шила! – яснее, резче обозначились наплывы плеч и безумный коромысловый изгиб талии. Плоский твой живот, женщина, уже начал толстеть. Горе не беда! Сегодня баба нежная, а завтра баба снежная. Колени и так

на виду. Художники, попляльтесь! Э, да тут не только художники! Кого это они наприглашали? А, Бобра! Бобра из котельной! Вон он сидит, Бобер, нос в стакан уткнул. У Бобра – дочку сцапали за гаражами амнистированные; утром тело нашли, двадцать ножевых, на шее полоса, шнурком от ботинка удавили. Вчера девять дней было. Все, теперь Бобер не остановится. Хана ему. Все пропьет. И пиджак за копейку сбаврит, и кальсоны; голым на кладбище пошагает!

– Манита-а-а-а! Восто-о-о-орг!

О да, ты еще восторг. Ты еще чудеса. До тебя еще охочи жадные пасти, горячие чресла. Вонючие, пахучие, потные тела. А твое тело, да оно еще вино, оно еще льется и звенит и пылает. Оно еще зовет. Не своди с ума! Сама ведь сойдешь.

Ну и сойду! Ну и сойду! Туда мне и дорога!

Крутанулась на носке; треснувшая туфля тускло блеснула. Свеча мигнула, как живая. Опять горела ровно. Рассеченный на крутые кольца лук плавал в консервной банке, свисал с жестяных зазубрин, рассыпался по заляпанному вином и жиром столу. Сегодня у нас на закуску селедочка на черном хлебце да с лучком – самое оно!

Из-за плеча Бобра осторожно, скособочась, выглянуло лысое яйцо. Вова Дубов так и сидел за столом в трусах: ярких, в цветочек, широких как парус, семейных, смешных. Вперемешку рюмки, чашки и стаканы, Вова крепко держит стакан, не уронит! Глаза горят, на женщину уставленные, и верно, вечным, верным восторгом. Восторженной сотни све-

чей на позорной службе в запрещенной церкви. Все запретили. Все! Даже – жить как ты хочешь! А вот пить – не запретили.

Тайком. Втихаря. До жути. До чертиков.

До белочки в рукаве.

Женщина крутилась еще, еще. Хватал воздух руками. Платье черной метелью вилось вокруг белых длинных ног. Мужчины видели все, что видеть нельзя. Напоказ – резинки, подвязки, застёжки, белый атлас кольчужного грубого пояса. Французское белье?! Рязанская мануфактура! Чулки прозрачные. Просвечивают ноги. Пьяная слабая, нежная шея еле держит разрезанное улыбкой лицо. Ты не смотришь вниз. Зачем тебе смотреть себе под ноги? Смотри всегда поверх голов! Поверх штыков! Поверх дымов!

Поверх – костей.

Мужчины хлопали в ладоши. Ты танцевала. А может, просто качалась дико, туманно, лоя ладонями дым, углы мебели, край стола. Крупными, чуть раскосыми глазами уходящее, дымом уплывающее время лоя.

Что у тебя с головой? Так сильно кружится она. Прекрати кружиться! Сядь! Отхлебни!

– Э-э-э-эй! Маниточка-а-а-а! Жа-а-а-арь! Раскрасавица-а-а-а...

Ты неловко махнула локтем, двинула в начатый холст на мольберте. Трехногий деревянный зверь покачнулся, да устоял; а холст, нынче замазюканный ею самую холст не

удержался: двинулся, поплыл, рухнул на пол, на разрисованные стариком-временем и свежими красками половицы с грохотом, с сожалением и стыдом, мордой вниз.

Маслом – вниз.

Бутерброд всегда падает маслом вниз, Манита. Маслом! Вниз...

Хорошо, не черная икра на нем. А твоя живопись.

Твоя, матушка, твоя, а чья же еще.

Мужчины по-волчьи наострили уши, уперли в стол не руки – лапы, приподнялись, нюхая молчащий воздух. Женщина прекратила кружение. Не била ногой об ногу и пяткой в усыпанный окурками пол. Свеча в консервной банке оплывала. Чадила.

Ты встала как вкопанная и смотрела.

Не на холст. На стол.

На сиротью колбасную попку. На кости, из кусков радужной сельди торчащие. На длинные, как цветы магнолии, старинные бокалы: Игорь Корнев подарил. Когда они с Игорем в первый раз обнялись. Здесь. Вот здесь.

На остро, опасно наточенный мельхиоровый нож с царским вензелем: а его одорукий Митя Кормилицын принес. Когда к ней сюда пришел. Прощаться. Она ему тогда: Митька, не дрейфь, что мелешь, кто тебя загребет?! А он ей: возьмут, Маня, сегодня и возьмут.

И пришли тогда. И ночью взяли.

За то, что в Богоявлении – церковь расписал и денег много

заработал.

Да нет! Не за это! Себе-то не ври! За то, что о ЦэКа партии плохо, черно говорил!

А может, и не за это. А может, как раньше: ни за что.

Чашка с розой. Эту Андрюша Никифоров принес. Сам розочку намалевал. Андрюша крупные холсты всегда мажет, а тут, даже странно. Сантименты? «Я тебе, Манитик, как художник художнику... вот...» И из-за пазухи скромно вынимает. Ты его тогда поцеловала. Сначала розочку на чашке, потом его. И пошло, и поехало. А что теперь, за подарки не благодарить?!

Глаза скользили, ползли, замирали. Ощупывали. Благословляли.

Глаза поглядели внутрь себя: а что там у тебя внутри, дорогая Манита, а?

А ну-ка, ну-ка?!

Боль. Кровь. Плетка. Пытка.

Порезы. Хватаешь лезвие руками. Заносят над тобой. Бьют и бьют. Пытаются настигнуть, добить.

Глаза глядят. В глаза льется пустой мир и наливает их до краев горькой водкой.

Глаза видят исцарапанные собаками и людьми стены подъезда. Твоего детского подъезда.

У твоего детства стены в засохшей кровяной корке. Грязные.

А может, глаза видят грязный снег.

А может, ржавую жесть гаражей.

Стены ржавых гаражей молчат. Кирпичи обступают.

Тебя не люди убивают, а камни.

Люди тоже камни. Люди ножи. У людей не руки, а лопаты.

Не ноги, а молоты.

Это – написать. Не забыть.

Кто нашел на снегу? Помнить их имена. Не помнить: забыть. Разве надо? Что, опять надо жить? Для чего? Для того, чтобы однажды ночью – себе самой – бритвой, коей под мышками брила – резануть по тонким синим венам, и в теплую ванну тюленихой залечь, и ждать, ждать? Все равно вынут. Все равно спасут.

Но есть надежда. Есть.

А почему музыка звучит? Откуда тут так много музыки? Дура, это ж твоя личная музыка; собственная. Обнимает, окружает. Мучит. Обливает сиропом. Обжигает черным пламенем. Ожоги отвратительны. Пламя – мощно. За мощь всегда надо платить увечьем, язвами, сиротством. Один старый мужик, когда был с ней в собачьей мимолетной любви и нависал над ней каменной глыбой, выхрипнул в ухо ей: не бойся сиротства. Оно дано тебе, как награда.

Пламя. Краски. Решетка. Собака.

Собака лает, ветер носит.

Собака – воет.

Женщина сверху вниз, как на растоптанную сигарету, как на кошку, шиной раздавленную, глядела на холст. А что там было? А ничего особенного: три тетки вокруг сидят за огромным столом и деревянные ковши расписывают. Золото, солнце, свет. Золотые чистые доски избы. Хохломская роспись. Толстые тетки солнцем красят деревяшки. А она красит текток. Каждый делает свое дело.

Чем чернее на душе – тем ярче ты брызгаешь солнцем на холстину.

Да ничего и не случилось. Ну, смазались рожи. Ну, высохнет, она поправит все, пролессирует. Еще лучше нарисует.

Да хоть бы и сожжет в печке! А потом – новый натянет! И загрунтует! И...

Никто и пикнуть не успел. Манита нагнулась, космы резво, резко упали вниз, черной ночью мазнули по плечам и шее, закрыли черной тряпкой лицо. Схватила холст обеими руками. Платье, руки безжалостно пачкала в сыром, плавящемся масле. Тащила холст к печке.

К горячей печи. Горели, трещали дрова. Плясали и плакали огни. Угли пыхали синевой, клубникой, ультрамарином. Живыми глазами мерцали; мертво гасли, уплывали навек. Холодели. Мертвели. Умбра. Сиена жженая. Сажа.

Солнце и золото! Все вранье. Сказки для худсовета. Золотая Хохлома. А она сойдет с ума.

Мужики загудели. Ринулись. Манита срывала холст с подрамника – некрепко он был притачан серебряным рассып-

ным маревом тоненьких гвоздей к стройным деревяшкам, легко рвался, отходил, трещал. В пандан дровам.

– Манита-а-а-а-а!..

Отдирала от дерева холст. Жизнь трещала. Глаза жужжали черными жуками, улетали с лица. Жмурилась. Глаза не опускала. Вова Дубов подскочил. Вцепился в подрамник, рвал холст к себе, кряхтел. Женщина держала крепко, уже в кулаке; весело, рьяно заталкивала в печь. В пляску пламени. Наступила ногой на подрамник. Ухватилась, мужицким, плотничьим жестом грубо выломала доску. И она полетела в огонь.

– Ты что творишь-то!

Смоляные космы торчали, топорщились вокруг лица. Черные змеи ползли на плечи, на шею, вились по груди. Бобер, отставив стакан, глядел на мощно напрягшиеся под тонкой черной шелковой тканью широкие, как лопаты, лопатки.

– Манитка... Не балуй!

Крикнул ей, так возница лошади кричит.

– Ты, монголка недорезанная! брось!

Витя Афанасьев с размаху бросил стакан об пол, и он не разбился, а глухо, больно стукнулся об пол и откатился в пыльный, паутиный угол.

– Ребята! Да пусть ее! Хозяин барин! Пусть хулиганит! Ее работа... что хочет!.. то с ней и...

– Я тебе... – Бобер икнул, – породыв, я тебе и прибью-у-у-у-у!

Колька Крюков вскочил, шатнулся, длинный, башня кремлевская.

У Маниты мастерская большая, по благу дали. И в ней телефон. И надо «скорую». Или милицию? Милиция, тюрьма, пятнадцать суток. Пламя охватило холст, жадно ело его, краски выгорали, воняли, остро запахло горелой нитью и скипидаром. Край холста на полу. Огонь яркой желтой кистью мазнул по холстине вдоль, широко и мощно обнял закрашенную ткань – и выбился из печи, рванулся к ногам женщины.

Изящные ножи. Статуэточка. Черные лаковые туфельки. Высоченные каблуки. И как только ты не упала! Ну, свались. Для потехи. И встань!

Не сможешь – руку подадут. Тут все мужики. И все в тебя...

Пламя обвилось вокруг Манитиных ног. Вспыхнули капроновые чулки.

Женщина безобразно разодрала рот и наполнила табачную комнату тяжелым ярким криком.

Мишка Виденский, уже наливший zenки до краев и стеклянно, жутко блестящий звериными красными белками, цапал воздух скрюченными пальцами, ногтями, как когтями. Вылез из-за стола. Рухнул к обожженным ногам Маниты. Тянул горящий холст на себя, на себя. Он вывалился из зева печи. Уже наполовину сгорел.

Мишка упал животом на то, что миг назад было карти-

ной, прекрасной картиной блестящей, неповторимой Маргариты Касьяновой. Мялся, валялся по холсту, приминал огонь. Вторя Маните, орал. Обжигался. Бил по огню кулаками. Ел огонь, глотал его, дул на него. Ревел как бык. Слезы текли, ими пожар не потушишь.

Женщина, крича, села на корточки. Упала на пол, будто кто подрезал ей колени. Валялась: нога откинута, носок туфли блестит крылом жука, лицо пустое, без глаз – глаза улетели. А, это просто закрыла она их. И опять видать на бедре, сухом и четко-чеканном, лошадином, подвязку, резинку, исподнее белье. Чистое. Чистейшее. Радость. Лебединые крылья.

Ах ты лебедь. Плынешь, и музыка. Вокруг и вдали.

Озеро детской ласковой музыки.

...озеро пинена. Озеро скипидара. Масла льняного озеро.

Колька Крюков дрожащий палец втыкал в дырки телефонного диска.

– Ноль-три... ноль-три! Па-пра-шу... быстра!.. Скорую... как можно ска... рее... Я?! Пьяный?!

Манита шире раскрыла рот. Так лебедь раскрывает клюв.

И страшный, громадный крик выпал, вышел наружу из ее глубин, залил комнату, и серый, синий табачный дым превратился в красный. В краплак красный. В кадмий. В сурик.

– Слышите?.. у нас тут! Ожоги! Первой, да, степени... Кто вопит?! А разве... вопят?! Нет, не дом! Ма-стре... стря... ма-стер-ска-я! Улица Карла Маркса... десять... квар-

тира два... Милицию?! Ну, не-е-е-т! Слабогрудой женщине, птичке... Подвал! нет, первый этаж! нет, цоколь! Звонок – веревочка, дерни за веревочку... Сезам, откройся...

Мишка Виденский стонал, валялся и катался по полу. Витя, взяв бутылку и глянув в нее на просвет, бултыхнул ее, там всплеснуло с тихим бульком; пододвинул иной, грязный, жирными чьими-то пальцами залапанный стакан – и вылил из бутылки все, до капли.

И капли считал. Сорок капель.

– Пятнадцать... шестнадцать... эх!.. сорока не наберется...

Виденский встал на четвереньки, по-собачьи подбрел на четвереньках к лежащей, балетно вывернувшей ногу Маните и навалился на нее, облапил, затряс ее за плечи, завыл.

– Родненькая-а-а-а! Очнися-а-а-а!

– Мишка, ну ты же не медведь...

– Маня и медве-е-едь!

– Тише вы, дайте Крюков договорит, он – в «скорую» звонит...

Капрон оплавился. На икрах вздувались страшные пузыри. Женщина оборвала крик. Закинула голову. Закатила глаза.

– Минька! Че лежишь на бабе? На моей?!

Витя сцепил стакан в пальцах. Держал стакан, как булыжник. И сейчас размахнется и в башку Виденскому швырнет.

– Такая же твоя, как и моя!

Дубов, качаясь, нелепо нес от стола к телам на полу салфетку, смоченную водкой.

– Виски... потерять...

– Отзынь с салфеткой своей!

Дубов присел около головы Маниты. Недвижное тело. Оно прекрасно. А картина сторела. А Манита еще нет. Все еще можно поправить. Все... еще...

Тер ей водочной салфеткой лоб, щеки.

Мишка Виденский отвалился от женщины, оторвался, скуля, подняв песий зад, уткнув голову в половицу, подвывал.

Сзади уродливый картофельный кулак налег на плечо, оттолкнул, упал Дубов, задрал медвежьи лапы. Витя, с бутылкой в руках, разжимал столовым ножом зубы Маниты. Из горла – в рот ей – сквозь зубы – водку вливал.

– Зачем водяру?! Воду, дурак...

– Сам дурак! Так быстрее оживет!

Манита дернула головой. И раздался звонок.

Дубов стоял на коленях с мокрой салфеткой в дрожащей руке. Быстрым, почти строевым шагом вошли санитары, дюжие парни. Краснорожие. Мороз на улице. Мороз. В России всегда мороз. Холод и голод. Колбаски захотели?! Хлеб-то весь подъели! Селедкин хвост обсосали...

Афанасьев отнял горлышко бутылки от Манитиных губ. Вытер ей рот тыльной стороной ладони. Потом большим пальцем нежно обвел. Нежно в закатившиеся глаза смотрел.

В лицо заглядывал ей, как в зеркало. Хотел увидеть себя.

Три санитаря, три парня ловко и быстро подхватили Маниту: один – под ноги, два других – под мышки, под плечи. Голова женщины болталась, гнулась шея. Застонала; содрогнулась всем долгим телом. Дернула плечами. Слабая попытка вырваться. Рот вдохнул и выдохнул табак, спирт, вольную волю.

– Очухалась...

Мишка Виденский улыбался жалко, шаловливо, умалишенно. Дубов подобрал под себя руки и ноги и стал похож не на медведя – на обрубок; и блестела в неверном свете догорающей свечи страшная голая голова.

– Эк как ноги-то вздулись... страх божий...

– Осторожней, товарищи! Это же не болванка! А женщина! Художница...

Санитары пятились. Санитар, что всех моложе, с самым жестким, жестоким гладким лицом, обернулся к Мишке.

– Художница! Художества! Нахудожествовали! Скажите спасибо, вас «скорая» на нас перекинула!

– А кто вы такие? – глупо спросил Бобер, зажевывая горький, соленый огурец.

– Мы? А ты не догадался?

Жестоколицый ударом ноги в свином сапоге открыл дверь.

Маниту выносили головой вперед.

– Хорошо, не ногами...

Мишка икнул. Бобер закинул руки за голову, обнял ладонями шею, закачался и запел:

– Кондуктор не спешит! Кондуктор понимает! Что с девушкой я... прощаюсь навсегда!

Витя вылакал из горла остатки.

– Куда везете девушку нашу?

– Девушку! Вся в морщинах! Шлюха пропитая! Куда-куда! На Ульянова!

Нефтяные космы качнулись, мазнули по полу.

– Вы – психбригада, – весело сказал Мишка и громко, как ребенок, заплакал навзрыд.

Колька Крюков тоже плакал, сгорбясь у телефона, закрыв лицо ладонями.

– Я сегодня обручальное кольцо в ломбард заложил, – прогудел Дубов. – Чтобы водки к столу вам купить. Пантера меня убьет.

– Вам? Себе! – крикнул Витя. – Ты ж тоже пил! Со всеми! Или – глядел?! А с Пантерой что, еще не развелся? Бросай ее к шутам! Скандалистку! Селедочки хошь? Или не хошь?

Черная лаковая туфля исчезала за притолокой. Шевельнулась нога. Дернулась. Рванулась. Крепко держали мастера скручивать руки, выламывать, как цыплятам табака, ноги. Огонь догорал в печи. Холст дотлевал на полу. Мишка Виденский гладил себя по животу, по прожженной рубашке, слезы мелко, быстро, золотыми летними букашками, ползли по лицу, по дорогам морщин.

– Коля!.. Коля!.. Ведь ее... туда...

– А! Куда Макар телят...

– Все там будем...

– Э-э-э-эх, ребя... художнички... задохлики... Для того ли воевали?!.. чтобы так... Выпьем!

– Выпьем...

– Да уж выпьем, что ж...

Водка лилась в длинный старинный, с отбитым краешком, длинно, извилисто, черной молнией по снежному хрусталою, треснувший бокал сначала громко журча, бодро, счастливо, живо, потом медленно, потом все медленнее, медленнее, медленнее. Капала. Цокала. Звенела. Таяла. Забивались серебряные пьяные гвозди. Утихала. Умирала. Испарялась.

Улетала.

* * *

Несли по лестнице, все вверх и вверх.

Лестница прямая, а будто винтовая.

Голоса доносились издалека. С того света. Этот свет мигал, гас и опять разгорался. Тот – молчал, изредка тусклыми дальними голосами вспыхивая.

Манита повернула голову. Шея хрустнула. Мир закружился. Щекой ощутила пахучую хлорную холстину носилок.

И здесь холст. Все на свете холст. Зачем холст? Затем, чтобы натянуть и малевать. Доколе хватит сил. А не хватит –

падай под мольбертом, как собака, вой и засыпай.

– Спать, – сказала сама себе трудно разлепленными губами.

Губы снова склеились. Веки смежились. Хмель выходил медленно, с трудом, вылетал пьяной ангельской душой, качался перед застывшим ледяно лицом.

Голоса наплывали и сшибались: «Эту?!.. В восьмую!.. нет, в девятую давай! там место есть!.. Повязки с левомеколем!.. Ожоги!.. Нет, не суицид!.. Волосы ей подбери!.. наступишь... шевелись!.. пяться!..»

Санитар, квадратное стальное лицо, открыл дверь в палату тощим задом. Ее на носилках внесли, как во гробе. Вытряхнули из носилок на койку, мешок с мерзлой картошкой. Панцирная сетка коротко и звонко лязгнула. Будто койка клацнула зубами, принимая ее, живую, свежую.

Еще не знала: притащили ее не в дом – на корабль. Не на палубу. В трюм. Узкий, длинный, огромный страшный корабль красного кирпича. Нос острый, хищный, торчит на углу двух старых стылых льдин-улиц, не перекрестке нищеты: черные лужи зимой застывают, и по жестким черным пластинам катится народ, да не народ, а черные ледовые сколы, а в дешевых пальто и дворницких стеганках каменные ребра, а обветренные швабры вместо лиц, медленно метущие вечную белую бесконечную палубу, чтобы – от незримого Капитана – в дырявую бескозырку – копейки получить.

А богатая публика на Корабле едет? Плывет, а как же,

плывет! Роскошные павы в выдрах и соболях. Важные товарищи во френчах и галифе. Да только не видать их – на верхней палубе они, и надо круто задрать нищую рожу, чтобы таких атласных павлинов в подробностях разглядеть. Довольно и того, что мы, сколотый лед, знаем о них: о тех, кому нас, льдины, бросают в бокал шампанского, в горделивый, божественного стекла, фужер.

Не знала: плывет Корабль молча, мрачно. Рассекает носом время и зимний наждачный воздух. Ноздри слипаются. Кости чувствуют холод, и рука чугунная, и ногу не поднять, чтобы сделать шаг. Лежи! Не гляди. Нет, открой глаза. Чуть качает. Плыдем? Плыдем.

Ресницы дрогнули. Манита поняла: ее глаза выплыли из-за черного забора ресниц и поплыли сами, без спросу, свободно. Превратились в жидкую соль, в стыдную боль. Чугунная рука медленно поднялась и закрыла лицо. Ей было стыдно, что она плачет.

– Товарищи... эй... Мишка... Вовка!.. Колька... где я?..

Выгнула спину. Хребет едва не сломался от боли. Опять напуганно, зверино вжала лопатки в тощий матрац. Поскребла ногтями: под ней простыня крахмальная. Чудо из чудес. Как в заграничном отеле. Скосила глаз: на углу подушки – на наволочке – черные овальное клеймо. В кляксу слились буквы. Не прочитать.

Нет, не заграница: русская вязь.

Казенный дом. Казенный Корабль.

Исправная тут кастелянша. И прачки трудятся, для них в трюме прачечную по последнему слову оборудовали; белых ручек не щадят, содой их жгут, в жгут наволочки и пододе-
ельники крутят, злобно отжимают.

Все работают, одна ты...

Из углов глаз весело выкатились слезы. Перо подушки жадно проглотило их. Мокрое пятно под скулой. Зато линзы радужек очистились, и зрячие зрачки полетели вперед. Наткнулись на решетку. Решетки на окнах. Решетки на дверях!

Тюрьма. Плавучая тюрьма. Чугунный трюм. Отец тебе так все и предсказывал. Пальцем тряс перед носом твоим.

Давно оплакал тебя, дура!

Дура. Дура. Дура. А Корабль-то плывет. Плывет себе и плывет. Не останавливается. Не поворачивает назад.

В тюремный трюм вбежали две обезьяны. Одна белая, другая черная. Обе мохнатые. Подпрыгивали высоко. В лапах, в уродливо скрюченных шерстяных пальцах держали: одна – погремушку, другая – живую лягушку. Белая высоко подняла погремушку, потрянула ею, далеко, по всему скользкому мрачному трюму, по листам грязного железа со звездами заклепок, по дальним мышинным углам раскатился звон, гром, грохот. Черная свернула круглыми глупыми злыми глазами. Черная лава взорвалась, вылилась на косматые щеки. Обезьяна выставила лягушку вперед, подняв обеими руками над головой, и резко рванула тельце за лапки в стороны. Она разорвала живую лягушку у Маниты на глазах.

Манита зажмурилась. Поздно. Она запомнила навек, как дергались влажные лапки, две лягушки вместо одной, в крючковатых пальцах ржущего черного чудища.

Отвернуть голову! Уткнуться в подушку!

Уткнулась носом в чернильную печать, похожую на черный огурец. Дышала пухом, слежалыми перьями, запахом старой, вытертой верблюжьей шерсти, чужой подсохлой мочи, чужой засохшей крови. Что невозможно было отстирать – не отстиралось. Даже в ста порошках. В крутом кипятке.

– Брысь отсюда! Гадины!

На пороге трюма появился мохнатый гигантский павиан. Она увидела его и с закрытыми глазами. С башки у павиана свисал колпак с шестью бархатными клювами; на конце каждого матерчатого клюва болтался золотой колокольчик. Павиан не шел, а прыгал. При каждом его прыжке колокольчики на колпаке заливались безудержным птичьим клекотом.

Манита распахнула глаза. Удивилась: внутри видела, и снаружи то же.

«Как я вижу все. И рентгена не надо!»

Страшный громадный павиан допрыгал до Манитиной койки. Поднял лапы-руки. Голые ладони точили красный свет. Нос горел лампой. Грязная желтая шерсть свисала с локтей. Под брюхом мотались красные флажки.

«Он зовет меня на демонстрацию?! Мне рано! Я же еще ребенок!»

Павиан сделал еще один, последний прыжок. Стоял вплотную к ней. Не дышать! Не вдыхать смрад! Ему подпалили шерсть! Его не моют в лохани синим мылом!

Медленно, крадучись, не шли – высоко взбрасывали сонные, хитрые ноги, как во сне, изгибались, наклонялись бредовым маятником, подползали к павиану двое: слева женщина, справа мужчина.

«Наконец-то люди».

– Люди! Помогите мне! Он съест меня! Видите зубы?! Пасть?!

Люди обернули к ней, кричащей, лица, и Манита поняла: кто в юбку одет, мужик, а кто в штанах, баба. Баба засушила рукава. Медленно, тщательно заворачивала, подтыкала ткань, скручивала в колбаску. Вот уже колбаска вышел локтя. Руки голые, мускулы мощные: ручищи, такими и дрова рубить, и волков душить. На медведя с ножом ходить.

Или людей в тюрьмах расстреливать: в упор, в затылок. И чтобы алые пятна разбрызганной взорванной плоти – салютом на голой несчастной стене.

А мужичонка – заморыш. Смурной, общипанный, затравленный, затюканный; зыркает исподлобья; юбочку не себе нелепо поправляет – стыд берет его, что он в бабьем наряде, а кто его нарядил? А она и нарядила, гром-баба: лошадю ржет, подмигивает!

Потоптался и тоже обшлага рубахи закатал. Руки волосатые, кость тонкая, сквозь кожу светятся синие ручьи сосудов.

Голодные щеки вобрались внутрь лица, очерчивая тяжелую челюсть. Плохо тебя кормят шут!

«Шут. Да, он шут. Сейчас колпак с павиана сорвет и на себя напялит».

Мужичонка, путаясь в юбке, рванулся к павиану, запустил крючья пальцев в его шерсть. Павиан завизжал пронзительно. Другой рукой мужичишка сдернул бархатный многоухий колпак и нахлобучил себе на затылок. Тряхнул головой! Зазвенели колокольчики!

Колокола. Надвинулись. Увеличились. Помощнели. Нависли. Загудели.

Гул заполнил весь трюм, а наружу не мог вырваться.

И трещало, трещало снаружи: лед царапал борта Корабля.

«Сейчас льдина острая бок пробьет. И вода хлынет в трещину. В пробоину. В дыру».

Гром-баба цапнула павиана за плечи, ударила его ногой в живот. Зверь коротко визгнул и упал. Серое, быстрое метнулось от железных дверей. Крысы вонзили зубы в шерсть, в мясо. Тащили. Тянули. Рвали.

Манита глядела. Тошнота подкатила. Она судорожно глотала слюну. Мужичонка торжествующе поправил на голове гудящую грозовую скоморошью шапку. Густой гундосый гуд волнами катался по трюму. Качка усиливалась.

– Уберите этого! Рубашку ему! – крикнула гром-баба и подтянула штаны, и крепче затянула армейский ремень с медной бляхой. – Да чтобы лямки не порванные были! Хоро-

шенько там проглядите! А тут новенькая! Шевелитесь, уро-
ды!

Уроды. Уроды.

Это те, кто рождается, теперь и сейчас; это те, кто уже ро-
дились.

Значит, она тоже – урод.

Нет, она – новенькая.

Баба в штанах обернулась к пустому листу железа с тыся-
чью заклепок и крикнула, и железо обратно швырнуло эхо:

– Аминазин! Быстро! Две ампулы!

Снаружи, с далекой палубы, глухо и бедно донеслось, ле-
дяной бабочкой допорхало:

– У нас шприцов кипяченых нет!

– Хрен с ними! Давай грязные! Не сахарная! Не растает!

Над ней наклонилось иное лицо.

Тигр скалил зубы. Черно-белый. Полосатый. Полоса
снежная, полоса угольная. Черная котельная, белая ртутная
водка. Черный ватник, белая вьюга. Белое пламя, черные зу-
бы. С зубов текла слюна. В когтях ловко держал шприц. Ла-
пы не дрожали. Чуть подрагивал кончик розового мокрого
языка. Тигр улыбался. Шприц светился золотом. Стронци-
ановая желтая. Охра светлая. Верный подмалевок. Теперь
ударить ярким. Цинковыми белилами. Локальным цветом.
Без лессировки. Чтобы один, точный, сильный удар.

Укол.

И боль. Сильная боль. По ветвям всех нервов.

Мазнула по низу, а течет к голове.

Голова в обруче боли. Голова в огне. Зачем так ярко пылают волосы?! Нельзя же глядеть!

«Не гляди. Не гляди, как ты горишь. Все равно сгоришь. Здесь, в трюме. В железном аду».

Посреди лютой боли раскрыла до отказа соленые глаза.

Белизна хлынула в них.

Белая палата.

Белая, белая, белая палата. Белое зимнее безмолвие. Дикое белое поле. Белое длится и длится. Белая, молчаливая, длинная, снежная жизнь. Белизну долго не вынести. Она невыносима. Она бесконечна. Отхлынет и опять приступит. Белым прибоем. Белым проклятьем.

Беленые стены. Ледяные плафоны. Ламп ледяные цветы. Метельные хрусткие халаты. Снеговые карманы. Зимнее поле пахнет хлоркой. Зимнее белое поле моют и моют все время. Без перерыва. Санитарки зимнего поля, лохматые обезьяны швабры. Палубу дряют. Белые птицы всюду сидят, спят, белизной убаюканные: на телеграфных столбах, на подоконниках голых, на тумбочках, на серебряно горящих никелированных спинках плавучих гробов.

Белое. Долгое. Длинное. Плоское. Невыносимо.

Слегка кренится палуба. Врешь: простой пол. Намытые

санитарками. полы. Встанешь – поскользнешься. Но ты не встанешь. Не сможешь. Укол убил в тебе птенца. Он хотел вылететь из клетки твоих ребер, а вместо этого подогнул костлявые лапки и умер. Так все просто. Очень просто. Проще не бывает.

Белая зимняя нить тянулась долго, вилась, утоньшалась, утолщалась; в зарешеченные высокие окна стала вползать синяя тьма, и белая нить оборвалась.

Манита открыла глаза. Открывать их было слишком больно. Она все равно открыла.

Где ты, девочка?

Скосила глаз: черные, перевитые белыми нитями, пряди на подушке. Ее волосы.

Поверх колючего верблюжьего одеяла – ее руки.

Ее? А может, другого кого?

Внимательно глядела. Кажется, ее. А кто такая она?

Ты, лежишь тут, ты кто такая?

Пыталась вспомнить. Морщила лоб. По лбу бежали извилистые ручьи раздумий.

Слишком тихо. Это такое время суток. Время года? Как оно называется? Вечер? Ночь?

– Ночь, – прошепел непослушный язык.

Ты можешь говорить. Ты речь не забыла.

Вернее, это речь не забыла тебя.

Лежишь. Это ты. А над тобой наклоняется косматая худая

женщина. Это тоже ты.

Ты глядишь на себя сверху вниз. Склонив шею. Свесив волосы с плеча черным теплым овечьим шарфом. Холодно. Укутайся в косы седые свои. Мать тебе их не остригла: растила и вырастила. А у тебя была мать, стоящая? И отец вплел в твою ночную гриву белую ледяную ленту. А у тебя, лежащая, есть отец?

«Закрой глаза. Так спокойнее. Не будешь видеть, как ты пристально смотришь на себя».

Она, стоящая у койки, внимательно рассматривала распластанную на тощем матрасе женщину. Непотребную девку? Изнасилованную девчонку? Кудлатую старуху? Э, да какая разница. Другая она коснулась рукой лежащей больной.

«Вот сейчас я выйду в дверь. И уйду».

«А я что, буду лежать? И не ринусь вслед?»

«Валяйся. Тебя же привязали».

Она, чувствуя тоскливую долгую боль, медленно качнула, мазнула затылком по казенной подушке. Где ее руки? Руки, вот они. Пошевелила пальцами. Шевелятся. Встать! По нужде!

А встать-то лежащая и не смогла.

Дернула ногами. Еще и еще. Ноги привязаны к койке скрученными в жгут тряпками.

– Эй! Помогите! Эй!

Перекатила железный шар головы по нищей подушке, жесткой и кочковатой, будто сухими ветками набитой. Ниче-

го не видела. Зато та, что стояла у двери, видела все: и закинувших головы, волосатые и стриженные, лохматые и бритые, залиvisto храпящих баб; и лунный блеск никелированных спинок и стальных шариков утлых кроватей; и квадратные торосы тумбочек; и обшарпанные, плохо беленные стены, а на одной стене нацарапано красным, должно быть, губной помадой: «СУКИ ВЫ ВСЕ». Помадой или кровью?

Стоящая у двери оглядывала, с дико бьющимся сердцем, свою палату.

Свой дом, где ей теперь придется жить.

Лежащая на койке не видела ничего. Зажмурилась крепко. Под черепом билось: «Лежи тихо, тихо лежи, больше не ори. Будешь орать – придут и тебя изобьют».

Тебя? Или ее?

Лежащая крикнула той, что стояла у двери:

– Беги отсюда! Спасайся!

И улыбнулась стоящая лежащей:

– Бесполезно. Отсюда не убежишь.

И тоже закрыла глаза.

И, когда они обе закрыли глаза, они снова стали одной Манитой.

И полетел снег.

Он полетел Маните в лицо. Свежий, чуть холодящий быстрыми поцелуями исхлестанные болью щеки. Летел и та-

ял на ее горячем, как печка, лице, и Манита раскрывала рот и жадно ловила снег губами. Глотала. Как водку. Сосульку сейчас пососать бы! Вокруг тьма, а снег белый, а в снегу лица. Лица толклись над ней сгущением вьюги, просвечивали сквозь белесую крутящуюся пелену, приближались. Колыхались над ней, обступали. Облепляли ее, рои белых пчел, просвеченным Луной льдом мерцали носы и лбы, губы в изгибе улыбки, в гримасе рыдания. Глаза не горели сквозь метель. Глаза то ли слепые, то ли закрыты. Как у нее самой.

Все это у тебя под черепом бьется и толчется; все это неправда, все понарошку!

Нет. Слишком настоящими были живые черты. Лица, какие вы красивые! Чьи вы? Девочка, ты чья? А ты кто такой, старик в треухе? Вот прямо на нее падает искаженное мукой предсмертья лицо. Солдат, и подорвался на mine. В разные стороны летят его ноги и руки. Какие его последние мысли?

И вдруг она считала их в одно мгновенье, и дико, страшно ей стало.

Лица наплывали и менялись. Красота превращалась в ужас. Ужас летал над ней, слишком близко. Манита хотела поднять руки и грубо, навек оттолкнуть его, но руки бесполезно и бессильно лежали, две плети, на тюремном одеяле. Я мертвая! А лица живые! Эти рожи! Эти пасти, акульки, драконьи! Они сожрут меня. Ты знаешь, что такое боль, когда тебя съедают заживо, когда слышишь, как в чужих зубах хрустят твои кости!

Все-таки напряглась, изловчилась и сбросила с себя одеяло. Голая? Нет, рубаха на ней. Странная, длинная, до щиколоток. Щиколотки обмотаны жгутами и накрепко привязаны к железным прутьям койки. Сверху падали на нее жгучим, огненным снегом орудие лица, валились холодными комьями, расплющивались об ее грудь, разбивались, к потолку летели осколки. Внезапно над белой грудой ледяных обломков, над руинами иных жизней заструилась тонкая, смешная музыка. Сначала жалобная, потом счастливая, все счастливей и счастливей. Вот флейта, она узнала ее, но забыла, как эта золотая дудочка называется. Вот гулкий фагот, вот арфа рассыпает ледяные леденцы. Лови! Откуда музыка? Кто играет? Не прекращайте играть! Так чудесно! Так... забыто...

Она слепо и призрачно поднялась с койки – так легко, бестелесно. На гладко вымытом больничном полу валялись зубы дракона. Детские голоса пели хором, взмывали к ярко горящим торжественным люстрам, к чистому синему небу. Что они поют? «Ленин – надежда и радость моя, с Лениным в сердце счастлив я! Красную вижу в небе звезду: с Лениным в сердце к победе иду!» В хоре она различила свой далекий, тонкий, как травинка, голосок. Красные галстуки молтал и тряс свежий ветер. Слепящее солнце пробивало желтыми пулями синие сугробы. Ленин умер в январе, и тогда был мрачный жуткий день, метель по горло замела всю страну, и люди плакали у станков на заводах, в трюмах нагруженных углем барж, в шахтах под землей, под толщей оке-

анской воды в подводных лодках. С голыми головами люди стояли под красными полотнищами, мужики мяли ушанки и кепки в руках, женщины прижимали кулаки к рыдающим ртам. Манита смотрела на черные от скорби лица и улыбалась. Ленин умер, а она-то что радуется? Ленин умер – она родилась! Только забыла, забыла об этом!

Красные галстуки, вейтесь, летите. Взвейтесь кострами, снежные нити. Близится эра черных годов. К смерти за веру, эй ты, будь готов!

Солнце дрогнуло, оторвалось, приклеенное к картонному праздничному небу, и свалилось за грязный стог вчерашних декораций. Взошла одинокая Луна. Синяя, мертвенная, косящая, улыбалась жутко и беззубо.

Летящий красный галстук больно хлестнул Маниту по сморщенному зажмуренному лицу. Она отшатнулась. Музыка все звучала. Подлетала ближе. Надвигалась уже не счастливым гимном – грандиозной, от подножья до зубьев, красно горящей стеной. Это симфония. Ее отец такие сочинял; только и об этом забыла она. Ее отец корпел и корчился ночами над устеленным нотной бумагой широченным, как плот, столом, уплывал на плоту от нее с мамой далеко, не угнаться, не рассмотреть огонь на мачте. Из-под вечного пера рвались, вырывались на волю черные муравьи нот. Расползались, больно кусали фальшью.

Оркестр гремел, захлестывал, и Манита понимала: не вынырнуть, захлебнуться, потонуть. Взметнула руки и с закры-

тыми глазами поплыла. К берегу? Прочь от берега? Она забыла, где берег. И что такое берег, забыла тоже.

Музыка грохотала, но сквозь великие черные валы, проколотые узкими серебряными копьями зимней Луны, пробивался ритмичный, четкий, ледяной стук. Стук-стук. Стук-стук.

Стучал метроном. Отбивал такт. Мелодия замедлила шаг. Слишком быстро ты бежишь, время. Надо бы помедленнее. Я не успеваю запомнить тебя. Я теряю память о тебе.

Сухо, мерно цокал метроном. Он всегда стоял на рояле отца. На широком, черном крыле степного подстреленного ворона. Когда отец учил Маниту музыке, он ласково брал ее кошачьи лапки в свои потные, огромные грабли-ручищи, нежно клал на клавиши и кивал: играй! – а сам включал метроном. Голос нежный, а стук неживой. Глаза сверкают, а стук могильный. Манита боялась мертвого метронома. Ей казалось: в треугольном ящике заключен игрушечный скелет. Стальные берцовые кости, железные позолоченные ребра. Медный упрямый череп. В глазницы вставлены красные рубины, для красоты.

Как мамины рубиновые сережки. Красные. Ягоды. Кремлевские звезды. Пулевые раны.

У них была собака. Она взбесилась. Отец ее застрелил. На белой шерсти красное пятно. Черный глаз застыл мертвым камнем.

«И камни могут кричать, деточка», – так он ей говорил,

качаясь в соломенном кресле-качалке, усадив Маниту на колени.

На колени! На колени...

Из музыки снежным комом выкатился младенец и подкатился к ногам Маниты. Ручки сложены цыплячьими крылышками, ножки подогнуты паучьими лапками. Головка на круто согнутой шее уткнулась во впалую грудь, и легко сосчитать на выгнутой спинке горошины-позвонки. Манита от страха отшагнула, потом присела – ослабели коленки. Вытянула руки. Ребенок развернулся перед ней, будто размотали клубок. Почему он весь в краплке красном?

– Почему ты весь в крови, ребенок? Ты кто, мальчик или девочка?

Тянула руки, и младенец послушно, услужливо прямо в руки ей вкатился.

И она, ошалев от ужаса и радости, прижала его к груди и так, с ним на руках, встала на ноги, и все смотрела на ребенка. Смотрела и вспоминала.

Младенец у нее на трясущихся руках заорал, завизжал капризно и требовательно. Может, просил есть. Ножки раздвинулись, мотались красными тряпками. Девочка.

Кто? Откуда? У нее никогда не было детей. А может, были, да она забыла. Сон? Выкидыш? Ангел расстрелянный? Игрушка гуттаперчевая? Весь в алом, в скользком. Гуашь? Клюквенное варенье? Калиновый сок на даче, на веранде, за белыми решетками, на старом продавленном диване, из мед-

ного громадного баташовского, с царскими клеймами, самовара? Дух-поводырь?

«Кто бы ты ни была, девчонка, я тебя не брошу».

Так, с тяжелым орущим младенцем на руках, она подошла к двери, выбила ее плечом и пошла по палатам.

Дверь закрыта. Ручку рвануть. А, здесь тоже все спят. Путешествие спящих! Мы плывем, мы не спрыгнем с Корабля: всюду льдины, и всюду океан, а это ледокол, он прокладывает нам, бедным, нищим, богатый путь.

На ближней койке – бородатое лицо. Глаза юные, а борода старика. Привыкай, Манита, здесь все такие. Человек глядел потрясенно. Расширились, выпучились глаза, из орбит полезли. Руки прижал к груди. Длинные пальцы, полосатая пижама. Прерывисто, громко дышал. Музыка еще стояла возле Маниты сияющим скорбным столбом. Человек глядел на Маниту и думал: как красиво, светло сияет она, и наверняка ему снится, и новую дозу галоперидола ему точно наутро вкатят.

Юноша со старой бородой качнулся и выбросил ноги-оглобли из-под простынки. Манита отшатнулась. Младенец орал. Внезапно прекратил визжать; закричал; личиком нашел Манитину грудь в распахе рубахе.

– Ты кто?

– А ты кто?

– Человек, ты же видишь, не зверь.

– А может, зверь?!

Громкий злой шепот раздавался на всю палату. Мужики поднимали головы от подушек. Манита пятилась к двери. Девочка нашла губками сухой женский сосок и чмокала, и била ладошкой пустую никчемную грудь. Босые ноги жгли крашенные доски коридора. А здесь кто? Тоже люди? Или звери?

Толкнула телом новую дверь – стеклянную, прозрачную. Тихо вошла. В углу скрючилась на койке девочка лет шестнадцати; она мелко перебирала пальцами, пряла невидимую пряжу, перестукивала незримиыми коклюшками. Вязала, вывязывала снежную больничную ночь. Опять беленые стены. Опять тумбочки, на них вафли и стаканы со столовыми ложками из серого алюминия, внутри них домашние носки, любимые книги, лимонные корки. Остатки жизни. Обломки спасательной шляпки.

Женщина свесила с койки голову. Ее рвало прямо на пол. Манита смотрела, как из нее извергается бесполезная людская пища. Женщина утерла рот, откинула на спину мочало волос, рухнула на подушку. Увидела Маниту. Промычала:

– Шо?! По мою душонку явилася, стервь?! Не я яво угрохала! Не я! Сказано, не я!

Старуха на соседней койке сидела каменно, недвижимо. Серая скала. Вечный гранит. Не дрогнет ни единый мускул. Лицо застыло глыбой льда. Локти кочергами торчат.

Манита впервые видела человека в ступоре. Шагнула. Руку протянула, толкнула. Старуха не покачнулась. Разве мож-

но слабой рукой сдвинуть с места гору?

А по коридору уже бежали, топали башмаками. Ворвались в палату. Схватили Маниту за плечи. Подхватили под колени. Поплыл потолок над ней. Не растает ледяная старуха. А Корабль все идет и идет вперед. Все колет тяжким носом и кирпичными бортами лед. Ледяная страна. Ледяные люди. Ледяные, белые лечебные шапки.

А где ребенок? Девочка где?

Она кричала. Что, забыла. Некогда было помнить. И незачем. Ее ловили и поймали; и птичий крик ее поймали в сеть и задушили в кулаке; и вот, привязывают ее опять к холодной койке, и задирают полотняный рукав, и колют, в эту жилу и в ту, и сверху, и снизу, и везде. Из крупных игл в нее вливается боль. Ей врут: это спасительная боль! Ей рычат: ты сумасшедшая! Ей шепчут: мы тебя вылечим, это уж как пить дать!

Пить... дать...

– Пить, – хрипит Манита, а ей отвечают, весело скаля зубы:

– Пить тебе?! Ой что захотела! Тебе пить сейчас нельзя, а то лекарство не всосется!

– Дайте мне...

Она мучительно пыталась вспомнить, как называется тот божественный, дикий напиток, из большой белой бутылки с зеленой этикеткой, с беленькой ледяной пробочкой на узком горле, и можно, открыв, налить в рюмку, а можно и в чашку,

а можно и просто так, закинув веселую нечесаную голову, губами к горлышку припасть и глотать, глотать.

– Дайте мне... водки...

Над ней, сверху, вился хриплый обидный хохот.

– Водки?! Да! Разбежались! Ишь чего захотела! Тебе галоперидол вкатили! Новейшее средство! Из Чехословакии привозят! Мы не всем больным делаем! А только тебе! Мы-то думали, ты вообще одяжка подзаборная, а ты вон кто! Дочка композитора! Заслуженного! И спилась, матушка, ведь подчистую спилась! Как это тебя папаша-то не уследил! Красивенькая, конечно... по рукам пошла...

Аминазин. Галоперидол. Изящные имена. Итальянские. Как у певцов в заморском театре Ла Скала. Отец слушал на патефоне Ренату Скотто, Джульетту Симионато. А Аминазина и Галоперидола не слушал. Не слышал. И ей не проигрывал. Забыл.

– Где моя девочка?! Девочку отдайте!

Она выгнулась под очередным уколом. Засучила ногами. Боль железным скребком прошла по нервам, от затылка к пяткам, потом поднялась по бедрам и животу к груди, резко ударила в сердце, процарапала шею, подбородок, веки, лоб и выстрелила в темя.

И сошла тьма.

Губная гармошка холодит губы. А потом обжигает.

Из губной гармошки вырываются звуки. Они слишком веселые и режут уши.

До того веселые, что там, наверху, под потолком, разбиваются на куски и сползают по стенам слезами.

Гармошка немецкая, трофейная. Стены обклеены чудесными обоями: фон золотой, по золоту рассыпаны мелкие розы на стеблях, видны даже шипы, как художник все четко прорисовал. Может, обои тоже фашистские, из злой ведьмы-Германии покраденные?

Отец воевал. Он прошел все войну и дошел до Берлина. Берлин, там медведь спит в берлоге.

Манита крепко держит губную гармошку. Высасывает из нее музыку. Музыка внутри серебряной расчески много. Не вычерпать. Девочка пьет заморскую игрушечную музыку, а потом плюется и вытирает губы подолом праздничной цветастой юбки.

Военные трофеи. Их много в просторной квартире. Квартира-дворец. Тяжело виснет люстра, падает с потолка гостиной: будто чье-то стеклянное, желтое тело с неба на землю летит и все не может долететь. Плафон – голова, рожки – руки и ноги. Тело младенца. Гигантская елочная игрушка. И даже елочные игрушки отец умудрился из Берлина в Горь-

кий доставить и не расколотить: вез в ящичке, густо, богато устеленном серой, в опилках, ватой. Манита, ахая, над ящичком склонялась и осторожно вынимала одну игрушку, другую. Изумрудный стеклянный огурец. Картонный гриб с красной шляпкой. Восточный фонарик из сонма стеклянных палочек, розовых и лиловых. «Огонь, – вопила Манита, вытягивая руки с фонариком, – папа, огонь! Обожгусь!» Это не огонь, усмехался отец и подтаскивал дочь к себе, ухватив за худое деревянное плечо, это так стекла выдул стеклодув, это фокус такой, эффект.

Что такое эффект? О, это что-то яркое, ослепительное. Когда глазам больно.

Когда из сердцевины елочного фонаря – тебе прямо в жалкое сердчишко упрямый мощный свет бьет навывлет.

Огонь! Так кричали взрослые мужчины там, на войне. Манита смотрела в кинотеатрах военные хроники. В «Паласе» контролерши разрешали вносить в зал мороженое. Она покупала мороженое за десять копеек. Сливочный шарик, снизу круглая вафля, сверху тоже. Можно долго лизать. Во мраке зала сладостью пахнет. Смородиной, вишней, молоком. Взрослые грызут семечки. Плюют шкурки в кулак, а то и на пол. С черно-белого квадрата экрана хлещет бодрая музыка, бьют по ушам зенитки, бьют по зрачкам веера черной земли, восстающие из ее взорванных недр. Земля, мать, круглый живот. У земли в животе люди закопали мину, а потом подорвали.

Кусок минной стали. Лежит в верхнем ящике комода. Вместе с грудой железных осколков. Отец на войне был сапером. Однажды подорвался на mine. Мина взорвалась – сержант Касьянов в ближнюю яму свалился. Яма спасла его. Осколки изранили ему плечи, шею, спину, застряли в толстых костях черепа. В лазарете два месяца валялся. Четыре операции, сильный организм. Отец, долгий, длинный, тощий, из железных прутьев, из медной проволоки сплетенный. Боролся с тьмой и положил ее на лопатки. Вей, снеговой! Из лазарета выписали – и на фронт, в часть. В мешочке холщовом, рядом с мылом и бритвой, лоскуты железа, что едва на сожрало его. На память.

Память. У человека есть память; и она грызет и жрет его, и бывает, до косточки съедает.

Счастье дано человеку – забывать.

Ночь и синяя Луна в клетке окна. Отец встает в спальне; Манита слышит, как противно скрипит кровать. Мачеха лежит тихо, как мышь. Мачеха боится отца. Отец молчалив. Он носит внутри себя, под ребрами, черный страх, что пугает людей. Маните тоже страшно. Мир, а отец все носит, не снимая, гимнастерку. Когда отец кладет руку ей на плечо, она вздрагивает. Отец кривит рот: ну что ты как молодая лань? И я не охотник!

Слышит шаги. Отец выходит из спальни. Кряхтит разошедшаяся дверь кабинета. У отца есть рабочий кабинет. Он там пишет свою музыку. В кабинете стол и рояль. На рояле мет-

роном. Страшная маленькая пирамидка из темно-красного дерева в разводах, стрелах и кругах. Карельская береза? Мореный дуб? Отец курил и гладил метроном, вынимал блестящую стальную планку, тыкал пальцем: запуская. Серебряная планка начинала лениво и грозно, неумолимо раскачиваться туда-сюда. Цок-цок, цок-цок. Она отсчитывала такт. Задавала темп. Ленто, очень медленно. Граве, так тягуче. Адажио, еле-еле. Анданте, вот это уже сдвинулись с места. Аллегретто, господи, ну вперед! Аллегро, наконец-то. Престо! Престиссимо! Беги! Девочка, беги! Не давайся! Не сдавайся! Борись! Берегись! Не надо! Не надо! Не...

Глаза закрыты. Но видят все, что делает отец. Он берет с подоконника цейсовский бинокль. Приставляет к глазам. Глядит в окно. На соседние крыши? На жирных голубей? Голуби синие и серебряные в лунном свете. Отец глядит на Луну. Рассматривает в толстые стекла ее посмертное уродство. Красива только жизнь. Он навидался на войне мертвецов. У всех у них глядели в небо лица, оцарапанные страхом. Исполосованные отчаянием. Разорванные последним криком. Если человека жгли заживо, он так орал, что умирал с разъявленным ртом. Он помнил эти обугленные зубы. Раструб этой вопящей сожженной глотки.

Из этой глотки и вырывалась его музыка.

Утром будет консерватория. Утром мошкаррой облепят студенты. Утром с радио позвонят: на запись вас, дорогой Алексей Дементьевич! Оркестр ждет, дирижер трепещет!

Ваша кантата «Бессмертный Ильич» прозвучит на всю страну!

Кладет бинокль на лунный подоконник. Желваки железными бобами вздуваются над голодными скулами. Он пишет о Ленине, чтобы семья не голодала. Чтобы его девочки ели икру и тресковую печень, сига и осетрину, красный крымский виноград и синий узбекский, жевали бутерброды с лучшими сырами, грызли грецкие орехи, глотали «Эссен-туки», лопали липовый мед, жрали, жрали, жрали. А он – пил! Пусть бабы едят, он будет пить. Лучшие вина. Вкуснейшие коньяки. Ледяную, из морозильника, самолучшую водку «Столичную».

Закрытый у них город. Навек закрытый, навсегда. От всех заперт. От врагов внешних и внутренних. Заводы все красные, прекрасные. «Красная Этна». «Красное Сормово». «Красный пролетарий». Молитовскую электростанцию выкрасили в красный цвет. Вороны и воробьи шарахаются. По чугунному, черному мосту через Оку медленно ползут черные люди, несут красные флаги. Седьмое ноября. Рассвет. Сегодня жена будет готовить утку в яблоках и салат оливье, горой в хрустальном лебедином блюде. Пальчики оближешь.

Пальцы в крови. Он слизывает с них кровь. Идет снег. По телу под гимнастеркой красными разводами течет боль. Он облизывает пальцы, будто они вымазаны в красном варенье.

Не помнить. Нельзя помнить. Убить память.

Подходит к столу. Поднимает крышку патефона. Черный

круг пластинки. Черная Луна в руках. Она будет кружиться в небесах, в дальнем немецком вальсе, во вздохах и улыбках Штрауса. Все композиторы сочиняли лучше него. Поставь пластинку, девчонки все равно не проснутся. Они всегда спят чересчур крепко. Хоть попойку в доме устраивай, хоть погром.

Патефон клацнул белыми костями, оскалил зуб серебряной иглы. Круг задвигался, вечный двигатель включился на пять минут. Убавить громкость. Вот так; чтобы только тонкий жалобный ручей лился из-под жестоко царапающей память иглы. «Я видел, как катился ручей с высоких скал... и как, журча, играя, в долину он бежал! Не знал я, что со мною и что влекло меня, но следом за водою с горы спустился я!» Шуберт. Бедный Шуберт. Умереть в двадцать восемь лет, заразившись поганым сифилисом в венском борделе. И восемьсот песен. Восемьсот! Великих. Нежных. Дивных. Счастливых. Станных. Могучих. Смертных. Бессмертных песен. А у тебя за пазухой что, сержант? Кантата о Ленине? Оратория о Сталине?

Зато тебя... на всю страну!..

Патефон точил тонкий счастливый плач. Сладкий тенор Макс Лоренц плыл горделивым лебедем по водам небесного ручья. Вплывал в озеро слез. Слезы заливали лицо отца, обжигали торчащие скулы, втекали в сухие губы курильщика. Мужчина в попытке усмешки над миром, над собой показал Луне желтые прокуренные зубы. Его не убили на войне. Он

жив. У него есть широкий письменный стол. Есть газовая плита на белой кафельной кухне. Есть прислуга. Есть жена. Есть ребенок.

Ребенок. Ребенок?

Это не ребенок. Это ужас его.

Манитины глаза закрыты. Веки тяжелы. Под веками она все видит; движутся фигуры и тени, горит Луна, горит спичка в костистых пальцах отца. Ото рта к пепельнице снует красная точка папирасы. «Беломорканал». Она вертела пустую пачку, отец смеялся: русский моряк доведет корабль и по выкуренной пачке «Беломора», лоций не надо.

Он курит у окна. Слушает тихого Шуберта. Распахнул фортку. Сырой осенний ветер раздувает ему пышные черные волосы. Большие залысины на лбу; черные крылья над черепом – справа и слева. Космами бешеными дочь в отца пошла. А мать на старой фотографии совсем другая. Лебеденок нежный. Гладкие ночные волосы, светлый пробор. Кружевной воротник. Шея-башня. Вот-вот наклонится и рухнет.

Мужчина курит в засос и пристально смотрит на фотографию женщины в кружевном, почти свадебном платье. Под снимком оттиск с виньетками: «ФОТОГРАФИЯ М. ДМИТРИЕВА, НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. КОЖЕВЕННАЯ, ДОМ ОЛСУФЬЕВОЙ». Пускает дым ей в лицо. Она не морщится. Не дрожат губы. Не пылают щеки. Все затянуто желтой, серой, черной, снежной, погибельной дымкой. Дымами взрывов. Красными стягами. Детскими пионерскими

хорами, старательно, во весь голос, орущими перед торжественными залами его стыдные, лучистые, лучезарные кантаты.

Война умерла. И война идет. Всю войну он недоедал. Недосыпал. Сколько – недолюбил! Зачем он кормит не нужную ему семью? Зачем снова женился? Отдал бы Маниту в детский дом.

Веки вздрогнули. Глаза под веками покатались вбок и вниз. Человек в спальне тоже вздрогнул спиной. Лунный мороз пошел по смуглой, чистой коже. Он каждое утро принимал душ, и каждое утро жена подносила ему вынутую из пропахшего духами и мылами шифоньера чистенькую, накрахмаленную, аккуратно выглаженную сорочку. От моли жена брызгала в шкаф «Красной Москвой», и он хохотал: я пахну как дама! На полках, на каждой, лежали куски мыла: «Земляничное», «Хвойное», «Детское».

Маните до ломоты в висках захотелось понюхать мыло. Она разлепила глаза и встала. Перестала видеть сквозь стену. Шуберт исчез. Отец снял иглу с пластинки. Затрещала кровать. Покурил и лег спать, все правильно. Когда они с мачехой будут обниматься – кровать запоет на весь дом. И Манита будет, подавляя рвоту, прижимать ладонь ко рту и кусать ее. А сейчас – мыло! Встать. Шаг к шифоньеру. Раскрыть створки. Протянуть руку. Пошарить под толщей сложенных рукав к рукаву рубах и вытащить мыло. Какое на этот раз? «Дегтярное». Прижать к носу. Глубоко вдохнуть, как в по-

ликлинике на рентгене. Задержать дыхание. Фу, как пахнет! Спиртом. Пивом. Ваксой. Березовой чагой. Солдатскими сапогами. Отец когда с войны пришел, у него от ног так пахло.

Манита хотела закрыть дверцы шифоньера. Не смогла: узрела себя в зеркале, привинченном к внутренней стороне створки. И застыла.

Ночная рубашка из тонкого ситца в полоску. Мачеха обидно хохотала: «Лагерная одежда!» Почему лагерная? Пионерская, что ли? Она уже ездила в пионерлагерь. Там старшие мальчишки дудели в медные горны. Всех строили на утреннюю линейку. Вожатый кричал, надсаживая слабый голос: «На зарядку... становись!» Манита дежурила на кухне, обвязав живот фартуком, и у нее из котла убежал суп. Залил огонь. Ее ругали при всех, и она побежала топиться в нужнике; долго стояла и смотрела на круглое вонючее очко, на черные доски, обильно посыпанные содой и хлоркой. Из нужника ее выдернули отрядные девчонки. Потом они все дружно смеялись и хлебали исцарапанными ложками ее убежавший рассольник с крупно, как для свиней, накромсанными огурцами.

Тонкие из-под рубашки щиколотки. Босиком на паркете. У них цветной паркет. Плашка желтая, плашка розовая, плашка коричневая. И вдруг – плашка голубая. Откуда отец такой добыл? Может, тоже трофейный? Манита глядела на себя во все глаза. Когда-то надо на себя вот так поглядеть: молча, ночью, пока никто не видит.

Страх в глазах. Страх в шевелящихся прядях волос. Она слишком смуглая, прямо цыганка; и слишком худая, хоть и есть много. Мачеха кричит: у тебя глисты! – и кормит ее отвратительным льняным семенем, ложку впихивает ей в зубы и потом тычем в рот куском ржаного хлеба; и ее неистово рвет в уборной. Уборная у них не как в том лагере. Не уборная, а роскошный цветочек, в котором Золушка родилась. Позолоченные дверные ручки. Ореховое сиденье. К цепочке над унитазом привязан фарфоровый набалдашник. Краны украшены самоцветами; папа шепчет: все вранье, это не сапфиры, а стразы! Стразы. Это тоже страх. Страх везде. Он глядит ей в лицо из воды на дне унитаза.

Манита подняла руку и коснулась рукой своего лица в зеркале. Погладила себя по щеке.

Ее зеркальная щека почуяла тепло ее ладони.

Рубаха, а если снять? На вешалках висят платья. Их тут много. Не счесть. Отец ворчит: Нора, зачем такая куча нарядов? Ты не королева английская! Мачеха сейчас спит с отцом. Раздвигает перед ним ноги. Они налегают телами друг на друга. Бесятся и вращаются под одеялом, как два живых глобуса. Липнут кожей; елозят по губам губами. Все это называется брак. Законный брак. Пока они слепляются и разрываются и клеятся друг к другу опять, возьми, сорви с тремпеля самое лучшее ее платье.

Смуглые худые пальцы Маниты судорожно перебирали ткани. Материя плыла и плавилась. Деревянные тремпели

гнулись под тяжестью шуб и пальто. Громоздкие костюмы, юбки в пол, пиджаки с подшитыми высоко ватными плечиками, по последней моде. Вот! Сейчас!

Под ладонью поплыло жесткое, деревянное. Наждаком оцарапало запястье. Пальцы сами вцепились. Сами тащили. Платье из жесткой, железной ткани. Из парчи! Мачеха заказывала его на пошив, у лучшей в Горьком портнихи Зинаиды Лысаковской. Полоса черная, по ней золотые искры; полоса золотая, белое золото, по нему бегут, убегают, несутся крохотные черные розы. Как на их обоях. Черные мухи. Черные муравьи. Черные родинки на золотой щеке, на золотой нежной спине. Черная черника на золотых нагих холмах. Бери губами. Ласкай. Вглатывай. Ешь.

Она сбросила с себя ночную рубаху. Комок отлетел вбок, валялся полосатой мертвой кошкой у ног. Зеркало притянуло, остановило. Глядела на себя, голую. Впервые в жизни. Водили в баню, там тоже зеркала: у них дома белоснежная ванна, да мачеха бубнила: баня это здоровье! Манита от стыда заворачивалась в простынку. Ежилась, горбилась. Не хотела показывать всем беззащитную, голопузую себя. Мачеха, разъярившись, швырнула в таз кудлатую мочалку и шлепнула ее по щеке. Звон раскатился на весь предбанник. Голые розовые бабы возмущенно оборачивались, громко укоряли мачеху: и что вы этак с ребенком? да ведь она птичка! котенок! а вы! стыды!

Не глядела в те, банные зеркала. Не глядела в зеркальце

на бегу распахнутой, на столе забытой мачехиной пудреницы с мельхиоровой крышкой, на крышке ледяная кремлевская башня с красной звездой. Дома, в гостиной, от пола до потолка зеркало стояло, на светлой еловой тумбе. Отец стучал по нему ногтями: запылилось, надо бы протереть! Мачеха зло подходила, комкая тряпку в кулаке, терла, терла, будто дыру протереть хотела. «Вот, глядись в свое венецианское стекло!».

Взрослые гляделись. А она – нет.

Вот лишь сегодня. Этой ночью. Исподтишка. В тайное зеркало старого шкафа.

Тронула пальцем грудь. В другой руке крепко держала платье, словно боялась – взмахнет рукавами, улетит. Глаза обшарили плечи и ребра. Скользнули вниз. Как устроен человек? У женщин внизу треугольник. У мужчин отросток. Это для размножения. Она читала в старинной энциклопедии. Она все знает. И даже больше. Но о страхе нельзя говорить. Нельзя думать. О нем нельзя помнить. Он просто есть, и все. Не надо тревожить его.

Довела взглядом до коленей, до лодыжек, до пальцев ног. И взмахнула парчой. И скользнула в нее обреченной рыбой. Сама прыгает в сеть. Сама забьется, заплещет хвостом, плавниками, задохнется. Ударят багром по голове; счистят чешую; разделают, разрежут – зажарят на чугунной громадной сковородке – и зеленью посыплют, и подадут к столу.

И родители будут есть и похваливать: а, черт возьми, как

вкусно! Неужели это наша дочь?

Добавки! Еще!

Стояла босиком, в парчовом платье, перед зеркалом.

Потрогала, как живую, туго скрученную из золотой парчи маленькую розу над вырезом между грудями.

Дверь пропела: ми, ми-бемоль, ре. В детскую спальню шагнул человек.

Манита резко, на одно мгновение, увидела в зеркале: летящий наискось снег, и закинутое лицо, и кричащий рот, и серебряную брошенную во тьму монету щеки, и ночь взметнулась и повисла смоляными космами, и борьба, и стон, и красное, красное горькое густое варенье, медленно, толстыми каплями, стекает по белым голым плечам, по живой голый свече, а ей гореть-то – миг, другой, и погаснет.

Отец взял ее обеими руками за плечи.

– Манита! Что ты тут творишь? Среди ночи?

Ее голова обернулась к нему.

А она сама все так же глядела в зеркало.

Ее стало две, не одна.

– Я? Ничего. Я сплю.

– Манита! Врешь и не краснеешь! Ты же не спишь.

– Я сплю.

– Ты крадешь из шкафа мамины наряды. Если что испортишь? Она с меня голову снимет.

Ее лицо глядело на отца, а ее глаза глядели вглубь страшного зеркала.

– Ты боишься ее.

– Не боюсь, а берегу.

– Меня ты не бережешь.

– Ну ладно! Ну хватит!

Попытался повернуть ее к себе целиком. Манита стала как стальная. Как бронзовый памятник Ленину, Сталину. Ее ноги вросли в паркет. Не вырвать.

Отец осилил. Теперь они стояли лицом к лицу.

Манита потеряла зеркало из виду.

И потеряла страх.

Глазами обожгла глаза отца.

Послала из-под ощеренных зубов презрительный выдох его прокуренным, колким губам.

Прикрыла ладошкой парчовую розу, как пойманного жука.

– Эй! Не трогай розу! Портниха ее некрепко пришила!

Манита вцепилась в розу и с силой дернула. И оборвала.

– Что ты! С ума спятила!

Она размахнулась широко, хулигански, как пацан, и от локтя, жестко и ловко, бросила золотую розу в открытую форточку.

Фортку в детской мачеха всегда держала открытой. Ребенку нужен свежий воздух. В жару. В мороз. Ночью. Днем. В солнце. Во тьме. В болезни. В здоровье. В крике. В молчанье. В смерти. Всегда.

– Как вы думаете, Ян Фридрихович, все-таки, какова природа бреда?

– Какой простой вопрос, Лев Николаевич! Простой как лапоть!

Снегобородый старик и высоченный, косая сажень в плечах, горбоносый, могучий Голиаф глядели друг на друга. Старик сгорбился за рабочим столом, заваленным сугробами бумаг. Голиаф, веселясь, полупрезрительно-полунасмешливо, играя одним углом рта в усмешке то ли вежливой, то ли оскорбительной, стоял и глядел старику в лицо, сползая взглядом со лба на затылок, на мятую белую шапочку.

– Простой?

Старик поправил на носу пенсне. Голиаф яростно потер гладко выбритые сине-сизые щеки ладонями. Старик отвернулся: от великана слишком терпко пахло одеколоном «Шипр».

– Ха, ха. Ну да, простой! А ответ-то на него – сложный! Нобеля тому, кто отгадает!

– Простой...

Белая шапочка качнулась и наклонилась. Старик нагнул голову. Глядел на носки своих старых, скороходовских, тщательно наваксенных черных ботинок.

– А вы хотите сказать, что...

Старик поднялся пугающе резко, будто стул под ним загорелся.

– Да! По-другому! Вопрос сложный! А ответ на него – простой! И он – один! И мы его не знаем! Знали бы...

– Не строили желтых домов, коллега? Но ведь мы с вами исполняем нашу мечту, не правда ли? Я вот всю жизнь мечтал стать... ухохочетесь!.. гипнотизером. А психиатром стал. И не жалею ничуть. Все очень близко.

– Лавры Мессинга не давали покоя?

Граненый стакан поблескивал: косо падал из оконного чисто вымытого стекла, из-за выкрашенной белой масляной краской толстой решетки свет фонаря. Зима. Фонари зажигают рано. А люди все равно идут и падают. Ноги подворачивают. Ключицы ломают. Травмпункт пятой больницы забит до отказа. Чем тело лучше мозга?

«Лучше бы с кровавыми телесами возиться, чем с пробитой бредом башкой».

Голиаф изящно, будто бабочку за брюшко, вынул из нагрудного кармана халата сигарету. Халат зимний, сигарета ледяная. Шапочка до дыр застирана. Мышцы, мускулы тесный халат рвут. Мужик, самец. Сестры вокруг так и выются. Старик, косясь, глядел, как, стоя у форточки, медленно, собой любуясь, курит Ян Боланд, плавно водя рукой туда-сюда, втягивая щеки при глубокой, как долгий поцелуй, затяжке.

Его ученик. Ведущий психиатр города. Не подступись.

Он-то, старый Пер Гюнт, несчастный профессор, не под-

ступится. Ишь, боек. Бойцовый пес. Бультерьер; и любому руку оттяпает, коли пальцем подразнить. И ему? И ему.

– Бред при шизофрении, коллега, отличается от бреда параноидального. Бред маньяка – от депрессивных снов. А бред лунатика? Вот она, природа сомнамбулы, ведь тоже рядом! А кто вскрыл эти механизмы? Кто?

Чуть было не вскричал: «Вы?!» Да вовремя осекся.

«Обижу дедушку Мазая. Все же он меня в люди вывел. К себе на кафедру пристроил. Я у него лучший. Да и дни его сочтены; еще немного, и...»

Предпочел не додумывать. Слишком часто врачи безжалостно, цинично говорят о смерти. А вот думать о ней избегают.

Старик сдернул белую шапку и, как рушником после холодного умывания, плотно, крепко вытер ею лицо.

– Вы, конечно, помните Кандинского, коллега.

– Да! Помню. – Боланд плюнул на пальцы и помял в них искуренный «бычок». – Еще бы не помнить. Бред интеллектуальный, бред чувственный. Бред такой, бред сякой. Человек бредящий пребывает в совсем особом мире. В ином пространстве. Может, в ином времени! И мы все для него – просто мошки никчемные!

Смеялся многозубо, радостно. Все крепкие, как на подбор, ядра мощных зубов можно сосчитать.

Старик снова тяжело, обреченно опустился на обитый черной кожей стул. Кожа прибита кругляшками странных,

похожих на армейские пуговицы, медных кнопок. «Ну точно как с гимнастерки содрали и приляпали. Почему он так зол на меня? Что я ему сделал?»

– Что я вам сделал?

Вслух, очень тихо, самому себе, не ему сказал. Боланд услышал. Выбритые до синевы лоснящиеся скулы побелели.

– Вы? – Вышвырнул окурок в форточку. – Да ничего. Ничего особенного! Вы же сами мне говорили: вот, вот она, твоя синяя птица! Вы бредили моим успехом больше, чем я сам! И когда я уже близок...

Старик повернулся к окну. Боланд видел его старое, обросшее седыми волчьими волосами огромное ухо. Столько диких воплей слышало. Столько рыданий. Столько предсмертных хрипов. Столько просьб. Жалоб. Ругательств. Столько... бреда...

Голос старика доносился издали. Будто с фонаря. С Луны – она висела над фонарем его небесным двойником. Синий глаз прожигал стекло. Плавил решетку.

– Ни к чему вы не близки, Ян Фридрихович.

– Вот как? Раньше вы были иного мнения. Может быть, вас...

Старик все глядел в окно.

– Договаривайте!

– Подослали?

Боланд видел, как окаменел затылок старика. Ординаторскую залило восковое, горячее молчанье. «Закурить бы.

Нельзя столько курить. Старая перечница!»

Из молчания медленно всплыло бородатое лицо. Губы посреди седой шерсти тряслись. Старый волк, тебя, как видно, тоже можно подранить. Какой ты чистый! Хочешь быть чистым?! Во времени, которое всех продало и предало, где ты не можешь быть самим собой, а принадлежишь, колесико, чугунный винт, громаде дышащей хрипло машины, и взмывают маховики, и вертятся турбины, и тебя больше нет, а ты лишь железный скелет на службе у незримого чудища?

Боланд глядел на старика. Его так просто растоптать. Уни- зить.

«Сейчас он врежет мне».

Старик раздул ноздри и шумно выдохнул. Беспечно снял пенсне. Долго, нудно вытирал его полый белого халата.

– Ну да, подослали. Как вы догадались?

Без пенсне его подслеповатые, беззащитные глаза смеялись искристо, игристо, нагло, уморительно, правдоподобно.

«Старый черт. Вывернулся. В шутку все обратил. И мне так же надо».

Голиаф, вторя, загрохотал, кулаком вытирая слезы, махал рукой, будто муху отгоняя.

– А что это вы без света, товарищи?

Ворвалась! Воздух и ветер принесла! Самая безумная докторица в воистину сумасшедшем доме! Оглушительно щелкнула выключателем. Свет выбил тьму из хохочущих ртов, из сторожко следящих зрачков одним ударом. Проша-

гала солдатским шагом к креслу у стола, сбросила лодочки на шпильках, рухнула в кресло. С наслаждением шевелила пальцами ног. Шелковые чулочки отливали дразнящим перламутром в тройном свете: Луны, фонаря, тусклого молочного плафона под беленым потолком.

– Об чем, товарищи, спор? Опять сыр-бор?

– Откуда вы, прелестное дитя? Вам давно пора дома быть.

У плиты стоять; мужу борщ варить.

– Возьмите меня к себе, Лев Николаич! Буду борщ вам варить! Буду хорошей женой!

Старик сморщился, сотрясаясь в смехе-плаче. Глубоко на брови натянул шапочку. Боланд прекратил хохотать. «Дурацкое ржанье. Старик еще силен. Под него не подкопаешься. Грозится скоро книжку про бред издать. Якобы открытие. После этого открытия... всех, всех... аминазином – заколем... как баранов – ножами...»

– Ласточка, крошечка. Простите старого дурака. Я нечаянно про борщ-то сбрыкнул. Я не хотел.

– Он хочет всегда и везде! Люба, берегитесь!

Люба, пышная, с добрым дебелим лицом, румянец вишневыми пятнами – по белой камчатной скатерти толстых сдобных щек; Люба, прозвище – Толстая, а еще Котик, а еще Царица. Как любят ее эти несчастные! В палатах за подол ее хватают. За локоть цапают; лежачие – к себе близко наклоняют; и шепчут, бормочут ей в белое булочное ухо с крошечной красной звездой турмалиновой серьги свое боль-

ное, свое святое. Свой вечный страшный, ножевой, топорный бред.

И слушает она. Терпеливая.

И подставляет кудрявую белокурую телячью голову под топор.

Таким и должен быть психопатолог. Терпеливым, хлеще Христа на кресте.

Боланд расстегнул халат. Пуговицу за пуговицей. Люба, приподняв углы розовых вкусных губ, глядела, как он раздевается. Старик ощутил себя лишним, будто в супружеской спальне.

«Молодые. Мое время уехало. Ушел дымящий черный паровоз. На полустанке расстреляли машиниста. Может, у них и правда сладится. Давай, Лева, шевели ножками. Убирайся вон».

Старик уже выходил из ординаторской, когда в спину ему ударил жесткий снежок голоса Боланда:

– А книжка-то ваша когда, Лев Николаевич? Скоро уже?

Старик встал вполоборота, наступил ногой в надраенном башмаке на высокий деревянный порог.

– Тайна. Тайна, покрытая мраком. Еще чуток матерьяльчику собрать. Да на мази все. Не бойтесь.

Улыбнулся тонко, губы – два червячка, и с лица уползают прочь.

«Издеватель».

«А я так тебе все и сказал. Держи карман шире».

Уже спина качалась в проеме незахлопнутой двери, исчезала, когда Боланд крикнул, пороссячи визгнул:

– Почитать-то дадите?!

Дверь стукнула. Люба и Ян одни. Она такая теплая. За этой стеной психи, и за другой тоже. Это как бочонок, и плывет в сумасшедшем море. В людском безумном, черном море. Зачем они врачи? И копошатся в людских отбросах? Он никогда бы не пошел в медицинский институт. К психиатрии не подлез бы на пушечный выстрел. Все случайно. Все погано. Его девушка поступала; за собой тянула. Его мать, старая еврейка из Гомеля, вздыхала, капала капли датского короля в военную хирургическую мензурку: «Ах, Яник, дохтур, то ж такой небесный цимес! уважь дряхленькую мамашу, поддай документики, ты ж у мене златой медалистик!» Девушку сбила машина, роскошная «Победа», партийцы ехали на пикник в лес, снедь и вина, ананасы в шампанском, завтрак на траве. Он видел месиво из разбитых бутылок, раздавленных апельсинов, задравших сломанные кукольные голени и локти трупов. Стоял и думал: тело! А где сознание? Мамочка, она уже так сильно любила будущую сноху, она не пережила потрясения; капелек себе не успела накапать, мензурка брякнулась об пол, мать упала следом, навзничь, затылком стукнулась о половицу. Он ей, недвижимой, бережно отирал с головы густую кровь. Целовал в морщинистое кошачье личико, в седенькие виски, и пахло от старушки корицей, дивным детским печеньем с корицей, слегка присыпанным са-

харным песком, и хрустит за зубами, и зубы хрустят, он ими скрежещет, он должен хоронить мать, а кто будет хоронить его?

Ты молодой, Ян. Ты остался один, и ты станешь врачом. В их память. Двух твоих женщин.

А эта? Что тут делает эта? Толстая?

– О чем вы думаете, Ян Фридрихович?

«Делает наивный вид. Неужели не понимает, я читаю ее, как книгу. И там такой скучный, банальный текст. Про свадьбу, борщ и постель».

– Я? О новой больной. Знаете, Люба, у нас новая...

– Знаю.

– Тоже видели ее?

– А как же. Сложный случай. Я сначала думала, алкогольная интоксикация.

– Да. Я тоже так думал. Но тут хуже.

– Хуже. Точно.

– Вы думаете, первичный приступ шизофрении?

– Для впервые выявленной – поздно. Ей ведь уже за сорок.

– Сорок.

– И что будем делать?

Она спросила так просто, будто: «Что будем на завтрак? Гречневую кашу с молоком? Или тонко нарезанную кету, булочки и вологодское масло?»

Боланд протянул руки. Люба подалась вперед. Думала, обнимет. Он руки опустил бессильно. Усмехнулся. Пошарил в

кармане. Нет, сигарету высосал последнюю. Под ложечкой ныло. В висках играла, стучала кровь. В висках и в паху.

– Выждем время. Что, что! Лечить.

Люба глядела в сторону. Пухлые плечи подрагивали под халатом. Щеки то белели, то алели.

– Вы же знаете, Ян...

Не добавила: «Фридрихович».

– Я знаю...

– Шизофрения не лечится!

– Попробуем литий. Попробуем терапию инсулином. Попробуем все.

– Ой, инсулином...

– Что? Жестоко? А вы уже ток кому-нибудь назначали?

– Нет. Пока – нет.

– Вы юная. Молоденькая вы! Поживите с мое...

Она подалась чуть вперед, ближе. Пышное тело поднималось тестом на дрожжах. Белые крутые кудри выбились из-под шапочки. Бахнула дверь. Влетела тощая, резкая, из одних обгорелых углов, чернокосяя, с бешеным оскалом вместо улыбки, без белой шапки, лохматая, как собака после драки, женщина; в распахе незастегнутого халата блестели военные медали на лацкане потертого твидового пиджака. Вскинула глаза на пару. Покривила рот. Щека задергалась в невыносимом тике.

– А! Голубочки! – крикнула женщина-кочерга. – Затаились! Ординаторская не место для воркованья!

– Почему же, – Боланд с пожарной высоты весело глянул на вбежавшую, – здесь такая удобная кушетка.

Присел и приглашающе рукой по кушетке, резиновой клеенкой застланной, похлопал.

– Циник!

– Точнее, охальник.

Люба легко, залиvisto рассмеялась.

Тощая врачиха недавно в психушке работала. Прикатила из Ленинграда. Поговаривали, что ее выгнали: выслали. За то, что она помогла больному уйти на тот свет. До суда и тюрьмы дело не допрыгало: замяли.

Ни с кем не дружила Тощая. А вот с Любой сдружилась.

Люба подпустила ее к себе близко, как застывшую на лютом морозе – к теплой, щедро растопленной печке. И грелась Тощая возле уютной Любы. И казалось Любе – она тоже больная; безумнее всех самых безумных. За тонкими угластыми плечами стояло, раскинув крылья, черное горе. Про него надо было лишь молчать.

Люба и молчала. Кормила Тощую домашними пирогами. Хорошо Люба пекла пироги, особенно с мясом и с луком-яйцами, а еще маленькие пирожки – с грибами, с капустой, с яблоками, с вареньем. Отменная стряпуха. И одинокая такая. А не всем в жизни везет. За больного, что ли, замуж выйти?

– Ты моя горностайка. – Люба лапнула Тощую за плечо, за спину, подгрехала к себе. – Ну что такая заполошная? Кто

там у тебя трудный? Кровь высосали. Всех разгоню!

– Тебе главный разгонит...

Тощая шмыгнула носом. Нервное, изломанное бессоньем, треугольное лицо оттаивало, текло талой бурной водой, вспыхивало жалким подобием улыбки, плыло и мерцало. Плафон качался под потолком на тонком перевитом проводе.

– У меня в сумке чудеса. Только за день-то остыли. А горячие – вку-у-у-усные были! Ну давай?

– С мясом, Любк?

– С мясом, – вздохнула горько, – все сожрали. Профессор Зайцев – и тот ел! Я в заначке... только с черемшой...

Полезла в шкаф. Копалась в старенькой сумчонке. Вытянула сверток. Растрепала мятую газету. Газетные свинцовые строки отпечатались на белом брюхе пирожка. Люба жадно и жарко, сияя глазами, по-матерински, жалостливо и довольно, следила, как Тощая быстро, облизываясь, ест, и на ее висках поблескивали боярские жемчужинки пота, и радостно подрагивала верхняя, в нежных серебристых усиках, губа.

– Нравятся?

– М-м-м-м-м!

Тощая доела пирожок, облизала ладонь себе, как лапу зверь, и Люба захохотала и крепко, до задыханья, притиснула подругу к широкой пылающей, печной груди.

Обвернуть горжетку вокруг шеи. Старую, вытертую, шерсть кусками от мездры отваливается, мачехину горжетку.

Мачехи? Или – матери?

Что у тебя осталось от матери?

У меня никогда не было матери.

Как никогда? Мать есть у всех.

Так. Я упала с Луны. Меня в клюве принесла громадная уродливая птица.

Мачеха пыталась внушить тебе любовь.

Мачеха превосходно внушила мне ненависть! И больше ничего!

Ничего. Ничего. Что такое ничего?

Это когда война, а на столе ничего.

Стол укрыт не скатертью – клеенкой. Посреди стола фарфоровая солонка. Похожа на белую морскую ракушку, с Черного моря; когда ей исполнилось шесть лет, они всей семьей поехали в Анапу. В Шляпу? В какую Шляпу?

Я мышка, и я уехала в Шляпу. И там уснула. А проснулась – война идет.

Война идет далеко, по радио. В черном гудящем круге. Из круга гремит музыка, веселые марши и отчаянные скорбные песни. И тягучий, как темный липкий мед, низкий муж-

ской голос возглашает, чеканя слоги, будто солдаты по мостовой идут, медленно, обреченно вздергивая похоронные ноги: «Сегодня... наши войска... оставили город Ржев... с большими потерями... мы не сдадимся... враг будет уничтожен... победа... будет... за нами...»

Где это – за нами? За нашими спинами?

На помойке, во дворе, мальчик, сын соседей, Лешка Покорный, по прозвищу Покер, поймал кота, убил его, принес домой, зажарил и съел.

Мачеха до войны нигде не работала. А заныло болью и музыкой черное радио – пошла работать. Санитаркой в госпиталь. Туда привозят раненых. Мачеха выгребает за бойцами вонючие судна и подтыкает им одеяла. Иногда читает им письма. Или пишет, у кого рука прострелена или руку отрезали.

Крепче завязать горжетку. Мех пахнет нафталином. Кто это летит вокруг меня? Зачем летит?

Легкий воздух. Он, как соленая морская вода, держит тела.

Вывернутые руки. Острые углы согнутых колен. Ветер рвет, срывает одежду с груди и животов. Рвет жестоко, срывает навек. По ветру летят тулупы и овечьи шубы, телогрейки и ватники, фуфайки и меховые безрукавки. Отделанные кружевом исподние сорочки. Толстые деревенские вязаные носки. Дырявые сапоги, серые, как спины больничных крыс, валенки. Ветер козью шаль размотал, терзает, комкает. Уно-

сит прочь перекаати-полем. Последнее тепло; запах дома, дух теплой каши, в шаль укутывали кастрюлю, чтобы ребенок, проснувшись, тепленького пожевал.

А ребенок где? С голоду умер. Опоздали вы со своей кашей. Долго варили.

А вот она не умерла. Куда летите, люди?

Меня хотите подхватить, унести с собой?

Тел все гуще вокруг. Толпятся. Заслоняют далекий тусклый свет. Свет сочтется невесть откуда: из-под земли? из-под брюх угрюмых туч?

Она внутри вихря. Полететь с ними. По ней мазнул огонь чужого тела. Отпрянуть. Противно. Не прячься. Подумай. Ведь это единственный выход. С ними. Вверх. Вперед.

Летающие закрубились, сгустились, текли белыми реками голые руки и ноги. Зияли дыры немодных нарядов. Вихрь тел превращался в вихрь улиц. Черные переулки свивались в крученье омота. В водовороты тьмы. Прохожие срываются с тротуаров и взмывают выше верхушек зимних лип и тополей. Черные пальто Москвошвея. Черные солдатские сапоги. Красные повязки дружинников. Все! Разрушен порядок! Землю взрыл танк. Это не танк, а кит. Зеленый кит. Белый кит. Его укрыл толстый слой снега. Он плывет во льдах и взрезает лед тупой безглазой рожей. У него на спине лежат красные яблоки. Кровавые фрукты, они кровят и плачут красными слезами.

Кровавый натюрморт. Красная мертвая природа. Яблоки

ты сама сделала из ваты. Залила ватные шары клеем. Выкрасила краплагом. Долго сохли на окне. Самое большое яблоко подарить мачехе.

Вон она летит. Вижу ее гадкие волосы. Ее черепашью шею. Обматывала бусами, чтобы не ужасались ее морщинам.

Врешь. Никаких морщин. Гладкая, как сазан. Блестки зубиков меж приоткрытых, как у ребятенка, губок. Она и отца этими губками-сердечками купила.

Этими умильными, малюсенькими, как у зайца, детскими зубками.

Мужик не может без бабы. А на войне?

Летающие тела окутали ее, обняли животами и локтями. Прижали волглой, сырой мякотью плеч. Зажали тисками спин. И она потекла и поплыла, как они. И она взмыла вместе с ними. Они держали ее. Так птицы в перелете держат на спине ослабевшего птенца. Она птенец. Ребенок. Детей жалеют.

Детей – не бьют!

А-а-а! Не бейте меня! Не бейте! Пожалуйста! Не надо! Не бей...

Вот тебе! Гадина! Ты посмела! Вот тебе! Вот!

Кулаки. Их недостаточно. Надо чего подтверже. Растрепанная, краснолицая, потная женщина судорожно ищет вокруг себя. Находит. В ее руках маленький утюг, утюжок. Кукольный. Игрушечный. Размахнулась! Удар! Ты извернулась, и стальной кирпич въехал в щеку. В висок – все, смерть! Щека

рассечена. Льется кровь. Крик расширяет рот. Из рта летит не крик, а кровь. Кровь заливает все вокруг. Всю кухню. Она убегает с кухни. Всю гостиную. Бежит вон из гостиной. Есть балкон. Ты прыгнешь с балкона! Ты спасешься! Удерешь! Иначе крышка тебе!

Переваливаешься через балконные перила. Пальцы на морозе прилипают к решетке. Не отдерешь. Сзади вопит женщина. Чужая, дикая, изъеденная ржавчиной войны, голода, ненависти. Еще недавно ела с серебра, утиралась кружевными салфетками. Теперь подкладывает больному утку под вялый нищий уд. Прыгай скорее! Она настигнет и убьет тебя!

Ты виснешь на перилах, ногами вниз, уцепившись за чугунные мерзлые прутья. Ладони кровят. Лоб крови. Голова залита кровью. Идет красный снег. Он метет и метет. Заметет ли мое сердце? Оживет ли мое сердце, когда...

Разжать пальцы. Разжать пальцы!

...все. Летишь. Свободна.

От крика. От побоев. От унижения. От войны. От голодухи.

Люди, летящие в ночи, в снегу, подхватывают тебя на крылья свои. Как много людей летит! Снег – это люди. Мелкие, дробные капли света и льда. Они складываются в небесные тела. Красивые лица. Дикие гримасы. Дети. Старцы. Все тут.

И она летит вместе с ними.

Что внизу? Тело валяется на обледенелом асфальте. Как девочка похожа на нее! Одно лицо. Глаза открыты. Ресницы

не дрожат. Разбилась! Бедная. Жаль. А я, похожая на нее, лечу. Потому что я снег, а она человек.

Ты вихрь. Ты танцующая метель. Живот – сковорода, ноги – ухват. Нет, ты не утварь кухонная! Ты вольный снег, ты паришь. Рядом летит старик Игнат. Истопник. Инвалид. Нет обеих ног. Вместо правой ноги липовый протез. Он детям давал его пощупать. Мы щупали и ахали, а Игнат вынимал из кармана чекушку и хвастался: «Я сяводня имянинник... беленькой купил!» Он упился в подвале. Уголь в топке горел, дико гудя. На помощь звал. Так и лежал: печь полыхает, давление преступное, котел вот-вот взорвется, черное вздутое лицо, синие губы, просящая улыбка, в кулаке пустая бутылка. Хлеб по карточкам; кто давал ему денег на водку? Крал? Милостыню брал?

Игнат машет тебе пустой бутылкой. Рядом мелькает круглая лоснящаяся рожа лагерной вожатой. Забыла, как зовут. Лагерь на юге, среди кудрявых виноградных гор, около веселого яркого моря. Зверь-гора выгнула черную спину, из моря воду пьет. Вожатая широкая как шкаф, необъятные щеки, белая кургузая панاما. Без возраста. Алым карандашом подмазывала серые губы. Губы кровят. Брызги летят. Зачем ты тут летишь, толстуха? Разве ты умерла? А, утонула. В красивом синем море. Я тебя спасала. За жиденькие волосенки из воды тянула. Выдрала волосы все. Ты ко дну пошла камнем. Легкая соль тебя не удержала.

Косоглазая Рая из второго подъезда. У тебя отца забрали

ночью. Потом мать и бабушку. За тобой люди пришли, все в черном и синем, лишь красные ордена горят на зеленом болотном сукне. Хотели тебя в детский дом. Ты вырывалась. Кусалась. Визжала. Выбежала на балкон. Пятый этаж. И она, как ты! Уважаю. Райка, ты молоток. Ты все сделала как надо. Мирowo. На ять.

А этот? Ух ты, и Славка тут! Славка Пушкин! Его в школе задразнили. Почему стихов не пишешь изящных?! Почему бачки не отрастишь?! Почему на дуэли не стреляешься?! Тряпками мокрыми, грязными в него кидали, когда к доске выходил. А у него отец комдив. Не просто Славка, а сын комдива. Класс за насмешки после уроков стоять оставляли на час, на два. Ноги подламывались. Голова плыла белым лебедем на черном пруду. Славка вынул из кобуры пистолет отца, всунул дуло себе в рот и спустил курок. Записки он не оставил.

Дети, милые дети! Родные старики! Да тут и девушки, и мужчины, а с ними куры и кошки, собаки и вороны. Живое льнет к живому. И в жизни. И в небе.

Вы умерли? Сгинули? Чушь какая! Да вот же вы, вот!

У кого лица белые, бледные: снеговые. У кого алые: свекольные, морковные. Кадмий красный, огненный язык! Скажи мне о воле! Скажи о любви!

Почему они все погибли? Почему тут летят? Значит, мало любви было у них на земле?

И кошка приبلудная хочет, чтобы ее лелеяли, кормили,

ласкали. Да разве в ласке дело! Во взгляде одном. Посмотри на меня как человек, мачеха. Я прошу, посмотри.

Глубоко загляни мне в глаза. И тогда я увижу, кто ты на самом деле.

А так я не знаю, кто ты.

Может, ты ведьма. Ты упырь. Ты бродишь по зимним кладбищам, разрываешь когтями могилы. Где похоронена моя мама?! Где! Ты! Ответь!

Тела, несясь в холодном воздухе быстрее туч и ветра, то сдавливали, то отпускали ее, и тогда она махала руками, как крыльями, пугаясь, что упадет. Ноги срослись и обратились в обросший перьями хвост. Лицо мачехи протолкалось сквозь сонм призрачных, плачущих, орущих, ухмыляющихся, кривых, жалобных, красивых яркой последней красотой лиц. Подкатилось страшным колобком к ней. Она увидела не только лицо: голую грудь, две гладких зовущих пирамидки, круглую вздрагивающую раковину живота. Пупок – жемчужина. Можно вынуть жемчужину и поглядеть в дырку. В черной дыре взрываются звезды. Космос корчит рожи. Строит козы морды.

Мачеха изловчилась и, летя мимо нее, занесла ногу. Ударил ногой ей в лицо. Голая пятка мазнула по виску. Вся сила удара пришлась на скулу под глазом. Небеса вспыхнули воем. Глаза заплыли кровью. Из глаз в стороны разбрызгивался сурик, кармин, охра красная. Кровь хлестала в пирамидальные груди мачехи, заливала шею, вплеталась в пряди

волос, шлепалась горячим красным сургучом на напряженные нити сухожилий.

Манита кувыркнулась в воздухе. Тучи траурным одеялом накрыли ее. На миг она перестала видеть. Слепо шарила по пустоте руками. Не смогла удержаться. И никто ее не удержал, летящую. Расступились, пропали голые люди-птицы. Она стремительно летела вниз. К земле. Падала.

Разбиться!

Пусть. Это тоже выход.

...холод. По жилам течет синий медленный мед холода. Он тягучий и горький. Тело стынет, а лоб горячий. Лоб еще мыслит, потный. Лоб любит. Спина прожигает живой печатью черный лед. Хребет не сломан? Скажи спасибо. Рядом рык: на снегу грызутся рыжие собаки. Вот собаки увидели ее. Она для них мясо. Они сейчас подбегут и станут грызть ее.

Так и есть! Обнюхивают. Одна уже в ляжку вцепилась. Другая ухватила зубами лодыжку. Почему ты не чувствуешь боли?! Почему?!

...а просто боли больше нет. Нет и не будет никогда.

Ты пережила самую большую в жизни боль. Огромную. Как ночной, расписанный тучами купол. Фрески туч. Мозаика снегов. Я, маленькая и несчастная, больше самой себя! Я так люблю мир! А он пустой. Я распишу эту пустоту! Я – небеса – мертвые – зимние – распишу жаркими, бешеными телами! Людьми! Зверями! Громадными цветами! Змеями и волками! Кровью, лимфой, мочой и слюной! Размазанной

грязью, землей! Землей – пустое голое небо! И все оживет!
Я жизнью смерть распишу!

Рыжие собаки увивались вокруг нее. Трясли хвостами, терзали зубами ее плоть и кости. Внезапно она ощутила адскую боль, и ее разум, спасаясь от боли, вышел из нее, выбежал и застыл рядом, наблюдая, как ее тело сворачивается в судорожный клубок на присыпанном сахарным снегом ледяном тротуаре. Далеко вверху факелом горел, освещая ночь, казнящий балкон. Кровь из ее разгрызенных ног щедро текла на снег. Она подняла руки и обвила ими мохнатую шею рыжей собаки.

Милая, пригнись ко мне. Ты такая теплая. У тебя такая мощная шерсть. Я утону в ней. Твои зубы в моей крови. Дай поцелую тебя в нос! Ты загрызла меня, а я тебя люблю.

Она терлась щекой об усы, о нос собаки. Собака заскулила и присела на задние лапы. У нее стали человеческие глаза. Из лап медленно выросли человеческие пальцы. Рыжая шерсть, превращенная в рыжие косы, струилась за ушами до земли. Рыжая девчонка! Ты вурдалак? Оборотень? В другой жизни я стану тобой?

Обняла зверя крепче. Шептала ей на ухо музыку, тут же переливая ее в кровь слов. Нежная собака моя! В тебе течет кровь моя! Гляжу в зеркало – в морду твою: себя, себя узнаю. Рыжая собака, мне тобой стать. Рыжая собака, ты моя мать! Давай вот так сидеть на снегу. Обнимемся... я без тебя не могу...

Не смогу.

Она зарылась в пахнущую кровью и гнилью мокрую, свалывшуюся, обледенелую на морозе огненную шерсть. Собака раздула ребра и глубоко, тяжело, прерывисто вздохнула. Так вздыхают дети после плача. Собака, тут не краски. Тут не бумаги и холстов. Я не смогу нарисовать тебя. Не смогу превратить тебя обратно в человека. Ты сука! Ты мать. У тебя были щенки. Ты помнишь одного? У него твои черные блестящие глаза. Он так плакал и скулил, когда тебя убивали. Тебя ведь больше не убьют?

Мысль оборвалась ветхой веревкой. Белье снега рухнуло на больную землю. Выстрел раздался неожиданно. Грохнул издалека. Метко. Собака вздрогнула всем телом и разом осела в ее руках. Нельзя разжать объятий. Где вторая пуля? Мы умрем вместе. Мачеха! Где ты! Почему улетела! Ты же видишь, мою мать убили! Мой красный огонь!

...встать. Ночь. Непроглядье. Влажный перламутровый всевидящий глаз фонаря переливается, слезный, круглый, цветной, за стальной решеткой, за разрисованным ледяными хризантемами окном. Когда и кто отвязал ей от койки затекшие, плененные ноги?

Встать. Рассечь утлым телом ночь. Ночь, черный океан. Море во льдах. Корабль плывет. На нем плывут дураки, идиоты, дряни, сволочи, гады, вральи, убийцы. Кто убил отца. Кто – мать. Кто – свое дитя. А кто – себя.

Музыка звенит в висках. Разламывает их надвое. Голова

сейчас расколется. Кто она такая? Если бы знать. Сегодня ночью, когда ее впервые отпустили на свободу, она рыжая собака; но она умеет лаять музыку и говорить стихами. И писать на стене – кровавыми когтями. Собственной кровью; как, собака, ты раньше не догадалась?

Манита нагнула голову. Поднесла руку ко рту. У нее всегда были острые зубы. Всадить! Крепче! Не бояться! Не жалеть!

Упругая кожа не поддавалась. Она грызла, кусала. Запястье вспухло; но кожу прокусить она не могла. Слабачка! Жалкая собачка!

На тумбочке стакан. Лекарства запивать! Выплеснула воду на пол. Вода быстрой ртутью поползла, побежала по выгнутой коромыслом половице. Стукнула стаканом о никелированную спинку койки. Граненый стакан треснул. Разломить его надвое, как краюху хлеба. Стекланный хлеб. Стекланная ложь. Она, собака, нацарапает когтями собачьим людям правду.

Острой зазубриной полоснула по руке чуть выше запястья. Кровь вырвалась на волю легко и темно. Широкой черной лентой проступила по всей длине пореза. Манита опустила концы пальцев в красные живые чернила. Подшагнула к стене. Намалевала кровавыми пальцами:

КАТЫ ВАМ ЗАТЫКАЮТ РТЫ
А ВЫ СЕБЯ ИМ НЕСЕТЕ НА БЛЮДЕ

Остановилась. Подушечки пальцев, ноги красные, коричневые. Пальцы – кисти. Кто она? Она забыла. Что такое кисти? Что ими делают? Рисуют?

Шептала. Таял голос.

ВЫ ПРИ ЖИЗНИ КРЕСТЫ
ВЫ УЖЕ ДАВНО НЕ ЛЮДИ

Что рисуют: слова? Орущие рты?
Губы вылепили сами:

ВЫ КУКЛЫ ВАС ДЕРНУТ ЗА НИТИ -
И ВЫ ПЛЯШЕТЕ ТРЕПАКА В ДЫМУ
НЕ СПАСИТЕ НЕ СОХРАНИТЕ
ПРОКЛЯНИТЕ СВОЮ ТЮРЬМУ

Дверь в палату открылась. Манита не видела, кто вошел. Человек в белом халате, мрачнее тучи, с вислыми казацкими усами, долго стоял у нее за спиной и хрипло, с натугой дышал, следил, как она кровью на белой стене рисовала. Шагнул вперед. Положил тяжелую руку ей на плечо. Она замерла. Ее застигли врасплох. Застыла с поднятой рукой. Будто ее облили на морозе водой, и, закованная в лед, она сохранила свой жесткий жест.

Молча белый человек развернул ее к себе. Лицом к себе. Лицо горело против лица. Два огня – ровный, холодный

и безумный, темный.

Два пламени.

Холодный огонь дернулся и холодно, тихо прошелестел:

– На. Возьми.

Рука огня покопалась в белом ледяном кармане. Вытащила огрызок карандаша. Мятый листок бумаги. В клеточку. Из школьной тетради. На листке вверху странный иероглиф: домик, снизу пририсованы куриные лапы. Сбоку надпись: **ЛИЛЬКЕ ПАКЕТ ГЕРКУЛЕСА И ПАЧЬКУ СПИЧКИ. МНЕ ДАЛЖНА ЛУКАВИЦУ И ЯЯЦО.**

Она стояла, не видя, не понимая. Огонь в белом халате осторожно положил листок и карандаш на лысый эшафот тумбочки.

Манита медленно тащила окровавленные руки сверху вниз. Два лодочных багра. Два убитых зайца. Две птицы в пасти веселой, паром и смрадом дышащей охотничьей собаки. И кровь капает на снег. На лед.

– А Корабль плывет?

Ей удалось поднять руки вровень с подбородком.

Белый человек в белой шапке, с огнем вместо лица, строго глядел на ее руки, будто ее пальцы были ее глазами. И из слепых глаз капали красные слезы.

– Плывет, плывет. – Полыхал огонь под шапкой. Прожигал шапку. Пахло горелым. – Еще как плывет. На всех парах. Полный вперед.

Он взял ее руки в свои. Перепачкал ее кровью ладони.

Слегка пожал. Она слабо, робко ответила на пожатие. Уловила, поймала губами улыбку огня. Ее губы тоже дрогнули и раздвинулись, поплыли, как рыбы, в разные стороны. Кровь стучала в висках. Заливала щеки. Раздувала сосуды. Била молотом в темя. Из-под скул вырывалась наружу и обращалась в мрачное пламя, и оно снизу подсвечивало ее нагую, сквозь больничную страшную длинную рубаху, фигуру, ее чуть обвислые, козым выменем, груди, частокол ее истомленных, высохших ребер. На белом застиранном льне расцветали алые пятна. Подол усеян красными цветами. Она так красива. Огонь уже влюблен в нее.

Белый человек наклонился и странным, бычьим, бодающим ночной воздух жестом припал к ее липким полосатым рукам. Пальцы женщины бессознательно дергались. Бездумно погладили доверчивый добрый огонь по щеке. На щеке мужчины остались красные дорожки.

Он выпрямился и, успокаивающе улыбаясь, пятился, пятился, пятился к двери.

Стекло блеснуло. Огонь горел за решеткой, за стеклом, за железом, в коридоре, далеко, и стучали, удаляясь, его шаги, и пылали на чисто выдраенных санитарками половицах его алые, золотые следы.

Доктор Сур локтем открыл дверь в каморку близ сестринской, где ночевал, когда дежурил. Схватил полотенце с разложенной раскладушки. Плотно, крепко, быстро, брезгливо вытер заляпаные сумасшедшей кровью пальцы.

Притворил дверь. Боком, по-крабьи, пробежал на пост. Сестра спала сидя, с открытыми глазами, как лошадь в стойле; руки лежали на коленях вывернутыми ладонями вверх. Ладони показались Суру двумя мертвыми зародышами. Он передернулся. Тихо свистнул, как собаке. Сестра качнула тяжелым колоколом головы, он прозвенел, она проснулась. Качался под ветром живой колокол. Глядел на снежное поле, белое море, из-под вымерзшей меди выпуклых чеканных, без ресниц, век. Внутри колокола гудел немой язык. Ветер рвал с затылка снежные перевитые, перепутанные веревки волос. Маленькие человечки спрыгнули с колен, стали руками, загнали метель под купол чинной медицинской шапки.

Готовность личика. Готовность приоткрытого ротика.

– Что, доктор?

– Касьяновой из девятой – завтра утром начать литий. И инсулин.

– Как... – Горлышко с готовностью кашлянуло. – Литий? И... инсулин? Сразу? Вместе? Инсулин... без Яна Фридриховича?

– Сначала литий. Потом инсулин. Под моим контролем. Ничего. Справится. Крепкая. Жилистая. Иначе мы не справимся с ней. Сейчас в палате на стенах стишки писала.

– Стишки?

– Кровью. Если штукатурку не соскоблит, завтра прочитаем, ха-ха.

– Во дает тетка.

– Пооди, обработай ей руки и перевяжи. Крепко перебинтуй. Узлы крепче затяни. Бинты еще есть?

– Есть.

– Йода не жалей.

– Да.

– И знаешь что, подбери, там стекла по полу, подмети. Она чашку разбила. Или стакан. Завтра распоряджусь на пищеблоке выдавать больным только эмалированные кружки. Никаких стаканов. Видишь, что выделывают. Что сидишь? Не проснешься, а?

Щелкнул пальцами перед носом сестры. Она отдернула голову и тихо ахнула.

– Я сейчас, доктор...

– Дрыхнешь на посту. Безобразие. А если кто повесится?

– Ой, ой...

– Умирает зайчик мой. Принесли его домой, оказался он... ну ладно. Действуй. Я в журнал сам назначения запишу. Дай.

Сестра сунула ему журнал в руки, как дьяк – попу – икону. Пододвинула чернильницу с воткнутой ручкой. Доктор Сур писал быстро, разбрызгивая чернила. **КАРБОНАТ ЛИТИЯ, СО 2 НОЯБРЯ – 500 МГ НАЧАЛЬНАЯ ДОЗА. УВЕЛИЧИВАТЬ ПОСТЕПЕННО ДО 2 Г В СУТКИ. ИНСУЛИН, С 10 НОЯБРЯ – 50 ЕД НАЧАЛЬНАЯ ДОЗА, НАЧАЛО ТЕРАПИИ. ПОД МОИМ НАБЛЮДЕНИЕМ. ДОКТОР СУР.**

Огонь погас, а Корабль плыл. Все плыл и плыл.

Только тела, что летели вокруг, в небесах, испарились; истаяли. Изморось, иней. Седина шерсти собачьей. От удара мачехиной пятки на скуле синяк. Вспухает печать. Дымится сургуч. Лиловое, пылающее, багряное, под тонкой пленкой изувеченной кожи. Жизнь хочет наружу. Ты всю жизнь была меня! Всю войну. А я выжила. Я не сбежала от тебя. Я не предала тебя. Мы голодали вместе. Ты нарочно не кормила меня, даже если в доме была еда. А я все равно жила. Назло тебе. Я пила сырую воду из-под крана. Отец говорил: ведро воды заменяет двести грамм масла. Меня рвало с воды. Вода плыла в моих глазах. Вместо кишок внутри катался плотный клубок колючей дикой шерсти. Ты гоняла меня на реку за водой. Зимой, когда водонапорные колонки замерзали, я возила воду с Волги в ведерке на саночках. Немцы бомбили Заречье. Я видела, как фашист сбрасывает бомбы; за Окой горел автозавод, на правом берегу – Красные казармы. Я видела лицо летчика в шлеме, за толстым стеклом: очки, на лягушку похож, стальной нож улыбки, бомбы падают из люка слишком быстро, не успевают долететь до земли. Я ложилась животом на снег рядом с санками. Закрывала голову руками. Я кричала, и снег таял под моим ртом: мачеха! Ты моя война! Я ненавижу тебя! Папа придет с войны и разmozжит тебе голову плотницким молотком! Он им заколачивал гвозди на даче. Когда строил веранду! А потом я разбивала им орехи! Перед новым годом!

И каждый освобожденный от шкурки орех заворачивала в золотую жесткую бумажку; в желтую, розовую и серебряную фольгу. Половинка грецкого ореха – половинка мозга. Целый орех – он думает. Мыслит. О чем он думает? О том, как его съедят?

Разжуют и проглотят.

Молоток! Твой молоток! Расколоти ей голову, отец! За что ты ее любишь?! Не люби ее! Прошу тебя! Пожалуйста!

А я буду развешивать орехи на елке. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Орех висит на ниточке. Душа моя тоже висит. На паутине. На серебряном вздохе. Дуновении. Скрипичном волосе.

Смычок надвое перепилит меня. Я уже слышу этот стон. Этот вой. Он длится и гаснет.

И елка, украшенная орехами, шишками и звездами, подворачивает лапу, падает на пол, ее комель трещит, горит крестовина. Я обнимаю ее тонкими детскими руками. Ложусь рядом с ней. Вдыхаю ее. Она душистая. Она дышит мне в лицо темной, колкой, зеленой, черной, восковой и серебряной смертью.

А за стенкой – слышишь? – играет музыка. Она играет всегда! Какую пластинку крутят? Венгерский танец Брамса? Вальс цветов из «Щелкунчика»? Или вот эту, любимую: спи, моя радость, усни... в доме погасли огни... птички замолкли в саду... рыбки уснули в пруду...

Мачехи нет. Молчит палата. Они, чудовища, лишь при-

творяются, что спят. Укрылись простынями с головой. Закутались в одеяла. Застыли сосульками. Оскалили каменные зубы. Тихо. Так лежи. Не двигайся. Застынь. Как они. Если пошевелишься – придут санитары и скрутят тебя; и опять жгутами к койке привяжут. И будешь под себя мочиться, и запах океанской соли будет плыть в раздувшиеся ноздри, насыщая легкие аммиаком и молитвой.

Лежи. Не вставай. Спрячь голову в ладони. Как тогда, в подъезде, а может, в постели, а может, на снегу.

* * *

– Ты чувствуешь, ты чувствуешь? Маргарита спит не чувствует, что на ней матрос ночует!

Беззубый распяленный рот смешит и страшит всех широкой, широченной, дырявой варежкой голой улыбки.

– Вот проснется Маргарита... и прогонит паразита! А-а-а-ах, ох! Дюже плох! Сколь у вас вшей да блох!

Сидит, скрестив ноги, на голом матрасе. А где простыня? А нет простыни. Одеяло скручено в ком, заткнуто под койку. Это не одеяло, а серый волк, зубами щелк. Бабенка эта поборола волка сама, голыми руками: взяла да задушила, когда он ночью к ней подкрался. Шкуру содрала! Освежевала как могла! Простите, в палате воняет, да знатная шуба у кого-то будет; эх, вот новенькой дарю!

– Ты! Новенькая! Слышь! Как там тебя! Имечко какое-то

у тебя кривое. Да и рожа крива. А может, ты и хромая, а? А может, ты и немая! Че воды в рот набрала! Колись! Бреши!

Манита спустила ноги с койки. С изумлением глядела на засохшую кровь под ногтями. Запястье толсто, пухло замотано бинтами. Бинтов не пожалели. Ноет под витками вьюги. Глубоко. Там рана. Я знаю, там глубокая, резаная, адская рана, и скалится, как в крике рот.

– Что сама-то брешешь?

– У! У!

Скрестившая ноги закинула бритую голову и шире раздвинула губы. Голые десны, меж ними болтается красный язык. То высунет его, то спрячет. То трубочкой сложит. То лопаточкой выставит. Веселится. Насмехается.

И внезапно замолкает. Будто выкачали из нее весь воздух враз; и рот пробкой страха заткнули.

Сидит. В колени ногтями вцепилась. Она не в рубахе: в пижаме. Полосатая пижама, заплаты на коленках и на задку. Зашитые карманы: ничего не положишь, ни расчески, ни пряника.

– Тебя-то как звать?

Голос Маниты превратился в нож с зубринами. Скрежетал по простыне, делая длинный скорбный разрез.

– Меня-то? А пес меня знает! Псица, жена пса! Сало-колбаса!

Манита глядела на подол рубахи, выпачканный в крови. На стене кровавые письма над ее койкой уже успели за-

мазать известкой.

Сзади раздался птичий клекот.

– Кар-карр! Карр!

А потом вдруг смешно и страшно:

– Чирик-чирик!

Манита слушала плечами, лопатками. Поежилась. В ее плечи впивались когти-крючья вороньего зимнего крика.

– Не оборачивайся! Обернешься, козленочком станешь! Я вот козленочком была. И меня растерзали. Такой зверь терзал! Брюхо вспорол! Кишки на рога наматывал!

– Бык?

– А пес его знает! Снизу мужик, сверху зверь! Так мутузил! Так таскал... А потом – его друзья! И у всех зубы... и у всех лапы, хвосты, рога... и ножи... ножи...

– Ножи?

– Еще какие! Он мне нож показал. Потом по шее лезвием провел. Пощекотал. Рычит: ложись! Я сначала боролась. Ночь сырая. Асфальт. Он стал хохотать и меня этим ножом тыкать. Я – за лезвие руками хваталась! Голыми! А он все машет ножом, машет... и мне руки режет... режет... и я... упала...

Манита раскрыла рот. Сзади послышалось шлепанье босых ступней по полу. Ловкие пальцы завязывали, опять развязывали странные тесемки на спине Манитиной рубахи.

– Упала... о...

«Это я упала. Рядом с лавкой. В ночном парке. На черный

асфальт. Дождь. Грязь. Человекозверь машет ножом. Нож – рог. У кого оружие, у того и сила. Он пырнул меня ножом, лежащую!»

– Валяюсь. Из кустов трое... выскочили... сначала он... потом они... заставляли меня все... все... я кровь теряла... чую, конец мне... в тряпку меня превратили... в грязи ком!.. солдатики спасли... три солдата... из кино возвращались... там кинотеатр рядом... «Летят журавли» глядели... и полетели!.. мимо меня... а я за лавкой лежу...

«Да. Я за лавкой лежу. В луже крови своей. Солдаты подбегают. Меня на руки хватают. Кричат: ты жива?! Бегут со мной на руках на шоссе. Под машину бросаются! Грузовик тормозит. Меня – в грузовике – в кузове – в больницу везут! Голова на солдатских портках, ноги о дно кузова стучат, как костыли, раненая грудь потной чужой гимнастеркой обмотана, а самый молоденький солдатенок ревет белугой – ему меня жалко!»

Манита прищурилась. Невидимая баба сзади опять завязала, играя, ей тесемки рубахи.

– Ну ведь спасли?

– Да я ж не человек теперь! – Задрала рукав пижамы. – На! Зырь! Я – жертва! Они так все мне и гундят: ты – жертва! В суд подай! А я не хочу в суд. У меня все внутренности разворочены; кто меня теперь замуж возьмет? Только крокодил. Жрать не могу: желудок прокололи. Я вся изрезанная! – Пуговицы рванула, они разлетелись. – Чуешь! Я кусок мяса!

Кому нужна! Денег отсужу?! Да начхала я на них! Выпустят если отсюда – в парк тот билетершей работать пойду. На карусель! И всех по очереди отловлю! С ножом... подстерегу...

Расширь глаза. Распахни до отказа. Вылупи перламутровые белки. Проколи зрачками ее грубые, вспухшие, рваные шрамы, белесые снеговые рубцы. Такими солдаты приходили с войны. А девку – мужики – в мирном парке городском – изувечили: ни за что, просто так.

Голова бритая, отрастают колючие тонкие волосики. Круглые глаза под голым круглым лбом сияют небесно, полонумно. Ты так радуешься жизни! А как же! Тот, кто понюхал смерть, так любит жизнь – ни в сказке сказать!

«Здесь бреют башки? В больнице? Машинками? Как с овец, шерсть снимают. С гололобыми возни меньше. Ванну им редко надо. Мыло, полотенце, где они тут?»

На Корабле есть душевые кабины. Для матросов? Для пассажиров? Для кочегаров и аристократов, для всех, кто пожелает отмыться от вечной грязи; и сам капитан иной раз заходит туда, полотенце в одной руке, мыло в другой, чистая сорочка висит на плече. Мыло сварили из мертвых детей. Сорочку соткали из мертвых волос. Кабины в форме гробов. Там хлещет из стен душ Шарко. Ледяной и горячий. Тугие струи больно бьют. Водой тоже можно изуродовать: под напором полоснет большее ножа.

Манита встала. Та, что стояла сзади, не успела отпустить тесемки. Повалилась носом на Манитину койку.

Обернись. Смотри, кто ласкался к тебе; кто шарил воздушными птичьими коготочками у тебя по сутулой спине.

На койке ничком валялась больная. Несчастный робкий затылок. Слабые крохотные ручки. Шейка тоненькая, как у цапли. Плечи из-под халата торчат бельевыми прищепками. Тихо стонет. Плачет? Смеется?

Нет, ты не ворона. Ты зимняя птица-синица.

Манита осторожно наклонилась к женщине и перевернула ее с живота на бок.

– Эй... ты...

Все, кто плыл на Корабле, друг другу родня. Одна команда.

– Не закапывайте... не закапывайте! Я не убивала! Нет! Не убивала! Это не я его! Не я! Поглядите, руки чистые...

Малютка лепетала жалобно, тянула к Маните руки-ложки, запястья-щепки. Обхватить нежно, ласково, любовно ее прозрачные косточки. Утешить. Шепнуть: все мусор, гиль, развееется, сожжется, улетит по ветру. А мы плывем, слышишь? И уплывем от твоего ужаса. Не надо про него! Дай я лучше тебе сказку расскажу. И песенку спою.

Манита сгребла худышку в охапку, положила ее дрожащую синичью головку себе на грудь и стала укачивать, как малого ребенка.

– Спи-усни... спи-усни... угомон тебя возьми...

– Она младенца своего удушила, – обрিতая показала руками у себя на горле, как: обхватила горло и плотно сце-

пила пальцы. Закашлялась. Выматерилась. – Натурально! И с умишка прыгнула и побежала, и убежала. Не вернется! Все, поезд тю-тю, пока граждане на Воркутю! А я тут с вами шутю! Удушила, вот этими ручонками...

Обритая ловко, мгновенно прыгнула с кровати, подбежала и больно, сложив пальцы гусиным клювом, ущипнула Синичку за голый локоть. На руке Синички расплывался кровоподтек. У нее было все мокрое лицо, так быстро и обильно текли слезы. Манита вытерла ей слезы рукавом рубахи. Синичка прижалась губами к ее руке.

– Ты правда убила своего...

Обритая завопила на всю палату:

– Жрать! Жрать! Всем вставать! Умываться! Водой холодной обливаться! И жрать! Уже несут! Несут!

Женщины в палате вставали. Кто падал с койки на пол тяжелым бревном. Кто медленно выбрасывал скалки ног из-под пододеяльника. Кто уже толкся в дверях, встречая гром кухонной каталки слабыми криками. А кто не поднялся, так и лежал, глаза в потолок, зубы на крючок.

– Да. Я убила. Сынка своего! Крошечную ласточку мою. Маленький совсем. Такой хорошенький. – Синичка показала, растопырив руки, величину ребенка, как рыбак показывает размер выловленной рыбы. – Я аборт хотела. Он мне не нужен был. Я не хотела рожать. А вот родила. Я одна. Я б его не подняла. У меня зарплата восемьдесят.

– Дворничиха, что ли?

Манитин шепот обволакивал трясущуюся головку Синички свадебной легкой фатой.

– Не-а. Хористка. В оперном.

– В театре? – Манита облизнула сухие губы. Ей до смерти захотелось запеть. Заголосить на весь Корабль, и чтобы на камбузе, на капитанском мостике и в клепаном трюме, везде слышали. – Здорово!

– Я его задушила... и пела ему... не хор... нет... Виолетту. Последнюю арию. Простите!.. навеки... о счастье... мечтанья...

Прянула у Маниты из рук. Вверх. Расправила тощие плечики-крылышки. Вот-вот взлетит. Раскинула руки. Потом притиснула к груди. Сжала добела. Широко раскрыла рот. Птица, пой! И пела! Заливалась! Стекла дребезжали. Никель коек драгоценно блестел. Простыни струились на пол атласными драпировками, фламандскими чахоточными кружевами. Голос из Синички вылетал дивный, сумасшедший. Возжигал смрадный воздух вокруг ее растрепанных кудряшек.

– О боже... великий!.. услышь ты... моленья... И жизни... несчастной...

Манита заклеила себе рот ладонью. Рыданье рвалось наружу. Она его не пускала. Держала в клетке.

– Прости... прегрешенья!..

Сгорбиться. Уткнуть лоб в колени. Пока она поет. Музыка. Отец! Ты такого в театрах своих не слыхивал. Пробивает мозг. Застревает дротиком в груди. Вылетает из-под ло-

патки острым копьём. А может, тем смеющимся ножом, в руке насильника, в старом осеннем сормовском парке.

– Прости... прости!..

Скрюченная в плаче фигура. Над ней – поющая, летящая. И ржущая, кишащая, свистящая, кипящая палата. Женщины не молчали. Не слушали, нет. Они пели, вопили, говорили, смеялись, рыдали вместе с Синичкой. Хором.

Синичка была солистка, а они все были хор.

А Манита, единственный слушатель в зрительном зале, горбилась в судороге горя и счастья. Не выдержала – заорала. Мощно. Свободно. В полный голос. Вторя Синичке. Подняв голову.

«Вой, рыжая собака. Это одно, что тебе остается!»

Дверь лязгнула и распахнулась. Из корабельного сумрачного коридора, с россыпью волчьих красных глаз под серым потолком, надвинулась грохочущая каталка. На ней развозили пищу для лежачих. Для насильно привязанных к кроватям. Для тех, кто в ступоре застыл: к ним приставлены кормильцы, им разжимают зубы черенком ложки или ножом и впихивают в рот жижу, кашу-размазню, суп-пюре. Если больной крепко зажмет зубы – его кормят, вставляя резиновую кишку в зад.

– Прости...

Последнее «ля» забилося под потолком, сложило крылья, упало камнем вниз. Манита глядела на крохотные ручки, убившие новорожденного младенца. Ребенок! Он бы вырос

и стал таким же. Он нюхал бы эту, вот эту вонь и гарь. Грыз горбушку ржаного и глотал подгорелую овсянку. И его ославили бы сумасшедшим, как и всех их; ибо кто поручится, что все они тут больные, и никто тут не здоров?

– Скажи мне... кто больной... а кто здоровый...

Манита разогнула спину. Обритая смеялась. Голые челюсти блестели внутренностью розовой рапаны. Каталку вкастила в палату раздатчица с плечами борца-богатыря. Халат на толстых бедрах разошелся, мелькали ноги-кегли, из-под короткой юбки мерцали белые жирные ляжки. Тетка бодро цапнула половник и шлепнула на плоскую тарелку жидкую кашу. Раз! Два! Три! Хватай-бери!

– Эй! Кончай ночевать! Готовь жевалы!

«Суют кашу в морду. Зверинец».

Она только заметила: у раздатчицы длинный висячий хобот, качается над воротником халата; а вместо ушей детские погремушки. Шаг шагнет – звон на всю палату. И каша во все не каша, а жидкий цемент. Сейчас они его проглотят, и пищевод закаменеет, и оледенеют они изнутри. Памятники сами себе при жизни. Их всех сгрузят на тележку, спустят трап с борта, свезут на льдину. И водрузят на дрейфующей льдине, и поплывет она по больничному саду, по трамвайным рельсам, и будут стоять они все – с каменными воздетыми руками, с застывшими в вопле ртами, и каменные смирительные рубахи будут колом торчать вокруг их врытых в лед ног, и каменные тесемки трепать ветер.

Белый шутовской колпак тетки. Белое кружево белья. Белье все в дырах, до того истончилось. Не меняют! Скупаются! Кастелянши экономят! Все равно больной зубами, ногтями порвет. В клочья. И лоскуты – в рожу врача, хохоча, бросит.

– Всем налила? Кашка-малашка! Язык отъешь и ум отъешь! Кружки давай! Киселя налью!

Оттолкнув слонику с поварешкой, в палату процокала на модных шпилечках процедурная сестра. Она осторожно несла шприц иглой вверх. Ледяная белая свеча. Кому горит?

– Больная Касьянова. Кто?

Обвела палату прищуром. Угремела вдаль каталка с едой. Доктор Сур вошел вслед за сестрой. Шел по половицам, как по болоту.

Или – по минному полю.

Разворачивал носки башмаков. Искал, куда наступить.

«Сам он сумасшедший. Ишь как косится. Он – нас – боится».

Манита стояла одна посреди палаты.

Она одна – рук за тарелкой с кашей – не протянула.

Все, кто ходячий, уже сидели, ссутулясь, чавкали. Всасывали в себя мышиную овсянку прямо через край тарелки. Обритая стучала ложкой.

– Ложитесь, Касьянова! Укол!

Засосало под ложечкой. Она поняла сразу: укол плохой, и плохо будет.

«Не дамся. Нельзя».

Попяtilась к окну. Подоконник врезался в поясницу. Наступила босой ногой себе на подол рубахи. Наклонилась, подобрала подол – и быстро, в один миг, вспрыгнула на подоконник.

«Так удобнее будет их бить ногами».

Сестра растерянно держала шприц иглой вверх. Прозрачное зелье дрожало. Сестра беспомощно оглянулась на врача.

– Доктор, вы же видите...

– Я не слепой. И ты гляди!

Доктор Сур шагнул к окну. Манита вспомнила, как мачеха, летя в небе, двинула ей пяткой под глаз. Где у тебя глаз, доктор Сур? Отпрянь. Вышибу!

Она подняла ногу и ударила быстро, жестоко, сильно. Доктор Сур успел отвернуть лицо. Удар пришелся за ухом, и ей показалось, чужой череп зазвенел, и эхо таяло в углах палаты.

Губы доктора Сура сошлись в бледную нить.

– Доктор... пыль же на иглу садится... я обратно... в процедурную, шприц сменяю...

– Стой!

Сур схватил обеими руками Маниту за щиколотки и с силой потянул на себя; так картонную крашеную куклу, схватив, жадно тянет ребенок с прилавка. Она не удержалась, всей тяжестью упала на Сура, и он нес ее к койке на плече, как убитого зверя. Бросил на матрац вниз животом. Пружины клацали, пели, громыхали, утихали. Когда панцирная

сетка перестала колыхаться, сестра со шприцем приблизилась. Сур развязал шнурки на спине рубахи. Приспустил больной трусы. Манита не двигалась.

– Валяй. В ягодицу. Вечером прибавишь дозу. Не бойся. Я ее подержу.

Наклонился. Прижал руками женские руки к железным краям койки.

– А если она... ногой...

– Наступи ей коленом на ноги. Да, да, вот так.

Сестра, обливаясь потом и навалившись коленом на выпрямленные, жестче досок, ноги Маниты, воткнула иглу в белую, метельную кожу. За решетками мело. Корабль проламывал носом вечный лед. Те, кто мог смотреть, смотрели, как новенькой сделали укол; ну и что? Что тут такого?

– Я уколов не боюсь, если надо, уколюсь! – дурашливо спела Обритая.

– Что так быстро! Литий надо медленно вводить!

– Ой, я не знала.

– Сейчас даст реакцию. Эх, садись, два. Брысь в процедурную! Зови санитаров!

Бедная беленькая собачка побежала по коридору Корабля, влаивая, вспугивая больные бледные тени.

Доктор Сур все держал руками руки больной. Прикинулась покойницей. Ничего, сейчас оживет. И даст тут всем прикурить.

Только он ее отпустил и разогнулся, и зашарил в кармане,

курить захотел нет мочи, как Манита развернулась огромной пружиной, подскочила на койке, взвилась, и страшно было поглядеть в ее лицо.

Лица Маниты не было. Вместо лица билась, тряслась, дергалась одна сплошная судорога. Кривизна мышц преодолела земное тяготение; сухожилия разрывали, взрывали изнутри кожу. Глаза вылезали из-под черепных костей. Росли белыми слепыми грибами. По клубку искореженных нервов хлестал дождь. Мелкие слезы орошали неистовую боль, и сквозь боль медленно, страшно прорастала рвота.

Вырвалась наружу. Нутро взбесилось. Манита выворачивала себя наизнанку дырявым чулком. Сур отступил на шаг, но далеко не отходил. Он знал, чем это все закончится. Скоро? Через час? Через два? Стоял, как часовой. Черт бы побрал сестру. Черт бы побрал его самого: он не предупредил, что литий любит медлительность и аккуратность. Сейчас начнется бред. И она может бешенствовать. Все тут переколотить; избить, ранить больных. Почему он не положил эту бабу для первой инъекции лития в бокс! Сейчас бы скрутил ее в бараний рог, и делу конец.

Стучали ботинками по коридору санитары. Вбежали в палату. Манита перебежками двигалась от койки к койке. От Обритой – к Синичке. От Синички – к Старухе, железно, вечно сидящей, руки на коленях, святая каменная, лошадиная морда. От Старухи – к Лохматой, что лежит и мотает головой по подушке: туда-сюда, туда-сюда. И все орет: «Не я

яво сгубила! Не я, шо брешете, да вот проверьте!» От Лохматой – к Змее в углу, очковой кобре, и раскачивается кожанный капюшон, и прожигает острый хвост половицу с облезлой краской. От Змеи – к Девчонке, что сидит и грызет кулаки, обливает их голодной слюной, и бормочет: «Я все равно уйду! Никто не удержит меня! Я решетки распилю! А у меня крылья! Крылья!» Так бежит, от койки к койке. А санитары идут за ней. Им приказали ее поймать. И связать. Что им крикнуть такого, чтобы они испугались и удрали?

Месиво вместо лица. Змеи вместо рук.

Куры лапы вместо ног.

– Я подложила мину под вас подо всех! Она в трюме! Я взорву Корабль!

Ага! Остановились. Думают! У них еще есть мозги!

Крокодилья кожа. Акульки зубы. Щучья пятнистая чешуя. Подо льдом в воде водятся странные звери: у белого кита морда льва, у бедного дельфина длинные металлические иглы по всему гладкому стальному телу – он машина, он может отбиваться от любого врага, он живая мина, и она тоже мина живая. Мина, Манита. Она сама сейчас взорвется. Не дать им подойти!

– Хватайте ее, парни!

Манита развернулась и въехала локтем в лицо Девчонке на койке у окна. Девчонка заскулила. Из носа у нее потекла юшка. Стальные дельфины подпрыгнули над водой, выметнулись на палубу. Швабры шевелили осьминожьими шу-

пальцами. Железные иглы пронзили ее насквозь. Вместо лица явился сплошной рот; и он орал, и вся она стала – ор и визг. Ей в рот всунули резиновый кляп. Сестра, дура, уже бежала с новой белой свечой: в ней булькал аминазин, надежный, родимый, безотказный. Сур махнул рукой, как дирижер. Санитары обнажили Маните руку.

– Пить!

Она кричала: пить! – а они все, глухие морские звери, не слышали. Они лакали соленую черную воду, а ей не дали глотнуть из кружечки водки, чтобы опьяниться, позабыться. Вода, водка? Где разница? Мать-детоубийца ревет и рыдает. Но она же, она, Манита, никого не убила! Она же чиста! Перед страной! Перед людьми! Перед лицом своих товарищей торжественно обещаю...

– Горячо любить свою Родину! Жить... учиться... и бороться...

Горло пересохло. Она ловила воздух ртом. Она рыба. Ее выловили из ледяного моря и сейчас убьют багром по башке. Судороги свели сначала ноги, боль хлестнула по длинным ветвям нервов; потом руки, они скрючились и застыли ухватами. Где, на каком холсте, в какой иной, солнечной, дачной жизни так же сидели золотые крестьянские бабы, в белых и красных платках, с руками-ухватами, с деревянными чашками и ложками в кривых пальцах? Красками быстро и навсегда замазали ее родное зеркало. Огромное венецианское зеркало отца. И новой войны не будет, чтобы привезти с нее

богатые трофеи.

– Как завещал великий Ленин... как учит!..

Говорить становилось все труднее. Звуки вылетали изо рта земляными мерзлыми кладбищенскими комьями. Как хоронили ее мать? Почему ее не взяли на кладбище? Она бы погладила красный гроб детскими ладошками. Она бы подняла с земли ком и бросила его в сырую глинистую яму. И попала бы в крышку. И дубовая крышка загудела бы, как литавры в оркестре отца. Внутри его помпезной знаменитой, краснофлажной музыки.

И все бы заплодировали вокруг. Ей. Ей одной.

– Ком-му-ни-сти... ческая... пар-тия...

Палата вертелась вокруг нее. Она все хуже видела. Не различала морд и клыков. Не слышала звона дешевых погремушек. Кляत्व, что не стоили ни гроша. Разрывов и выстрелов. Гула танков. Зениток и команд. Война закончилась давно, зачем у тебя под теменем она еще идет? Губы трескались, как земля в жару. Ей ко рту поднесли кружку. Ее холодный край ожег ей кожу, она глотала белый снег, мычала, счастливо улыбалась. Сколько радости в мире, когда напьешься. Водка или вода? Пьяная вода. Белая вода. Они все-таки сделали ей хорошо.

Она медленно, глядя перед собой каменными глазами, села в кровати. Каменные руки сами легли на колени. Каменные колени порвали рубаху. Каменная рубаха давила на каменные плечи. Каменные мысли не ворочались. Каменные

волосы не летели.

– Все, ступор. Пусть сидит. Не трогайте ее. Отгадет сама.
Может, к вечеру. Может, завтра.

Обритая показала доктору Суру язык.

Очковая Змея показала обритой кулак. Прошипела:

– Ты! Саломейка! Повезливей с начальством!

Синичка тихонько прочирикала:

– Вы не волнуйтесь! Мы ее покормим!

– Я не волнуюсь. Спокойствие, товарищи. Лечитесь послушно. Мы вам добра желаем.

Сестра стояла рядом с Девчонкой, сердито прижимала ей к красным ноздрям ватку, вымоченную в чистом жгучем спирте.

* * *

Соленая рыба у губ.

Близка; да не укусишь.

Рыба раскачивается. Муксун? Нельма? Сиг?

Изо рта текут слюни. Ты не ел давно. Завтра сюда приезжает великий писатель Страны Советов.

Мальчонка сидит в разрушенном храме на жердочке, как петушишка.

Жердь длинная, от стены до стены. На ней, курами на на-сесте, сидят люди. Еле удерживаются: жердь толщиной в ру-

ку, даже тоньше. Вцепляются в жердь: только бы не свалиться. Свалишься – смерть, верняк. А какая смерть? О, разная. Всякая. У палачей фантазия играет. То разденут догола, это зимой-то, и на валун поставят: стой да замерзай. Все, каюк тебе. Ровно через час на подмерзлые камни падает труп. То привяжут крепким вервием к толстому бревну, и ори не ори, а поволокут тебя на гору Секирку. А оттуда вниз – длиннючая лестница. Триста шестьдесят пять ступеней. Монахи выстроили во время оно. Ступени высокие. Бревно тяжелое. Кладут тебя, к бревну притороченного, и ногой толкают. И катишься ты вниз, ломая ребра, разбивая череп. Вопли твои слышит небо. И молчит.

Молчат облака. Молчат ветра.

Молчит седое, мрачное ледяное море.

И Анзер, твой остров, корабль; и Голгофо-Распятский убитый храм – корабль; и тельце твоё утлое, ребячье, – корабль; и ты плывешь, и узкая жердь плывет, от креста отломившись. Старики шепчут: есть Бог, и ты окстись.

А то по осени, когда ещё водица плещется, и озера и ручьи не встали, загонят тебя по шею в болото; и держат так.

И ты готов уже умереть. Зачем же против воли твоей глотка твоя все кричит и кричит? Глотка жить хочет. Руки-ноги жить просят. А душа, она уже устала.

Люди крючатся на жерди, подбирая под себя ноги в исподних портах. Исподние рубахи коричневой кровью заляпаны. Их – с расстрелянных сняли. Кое на ком ватники. Наброше-

ны на плечи. Люди не чувствуют уже ни тепла, ни мороза. Ватник валится со спины на каменные плиты древнего пола. Прозрачный монах в клобуке подходит из тумана и поднимает вверх два плотно сложенных пальца. У монаха метель вместо бороды. У него ноги – шершавые, в инее, доски. Осенив их крестным знаменем, он уплывает погребальной лодьей.

Мальчик смотрит прямо, вперед, перед собой. Мальчик не опускает глаз. Ярко-синие глаза, цвета летнего неба. Его тоже топили в болоте; овчарка вертухая вытащила его, вцепившись зубами в рубаху, изранив ему плечо. Охранник поднес к его лбу наган. Раздумал убивать.

Тот сердобольный охранник. Вот он. Маячит перед ним. В вытянутой руке держит соленую рыбу. Мотает ею перед носом мальчика.

Что, лупоглазый попугай?! Вкусная рыбка-то?!

Если неловко потянуться за рыбой – свалишься с жерди. Да так он тебе и поддал. Ты за рыбой – а он выше подымет. Горит соленая свеча, пламенем вниз.

Рыбу ловили монахи. Рыбу ловят заключенные. Белое море – рыбное море.

Кидают в лодки дырявые сети: штопайте сами! Баб мало. Бабы все растерзаны, сожраны охраной. Есть надсмотрщицы, которые сами до баб охочи. Играя пистолетом, ведут узниц в контору. Через ставни доносятся крики. Потом мертвую голую бабу за ноги вытаскивает на порог пьяная вохра.

И волокут на побережье по вырубке, по камням, по белым черепам, мертвую спину об острые свежие пни и гранитные сколы обдирая.

Эй, сеть зачинала плохо! Рыба вся – в дыры уходит! Пять суток карцера!

Карцер – часовня. Выбиты окна. Ветер гуляет и голосит под куполом пьяную песню. На вторые сутки узник валится на битый кирпич. Так и отходит – с разинутым в вопле ужаса ртом.

А то еще есть селедочница. Это не для рыбы. Для людей. Глубокая выемка в скале на берегу; к ней приделана тяжелая стальная дверь. Рыбы не наловили? Нас всех голодными оставили? Ах вы нехристи! Ах ублюдки! Весь отряд ведут на берег. Заталкивают в пещеру. Так тесно люди лепятся друг к другу. Дышать нельзя. А пихают еще и еще. Крики не слышат: вохра оглохла навек, ей товарищ Сталин приказал.

Набьют селедочницу, утрамбуют, еще и ногой последнего человека втиснут – мужчину ли, женщину, ребенка, калеку, бабу, старика. Последний отчаянный визг защелкнут железной дверью.

Все. Замок. И прочь отсюда, ребята, и пошли-ка выпьем, партию водки с материка в трех ящиках привезли, Хозяин расщедрился – гуляй, казак!

Уходят. Из-за двери поет поднебесный хор. Ор и визг постепенно переходит в слезный ток; в бормотанье; в молитву. Задыхаясь, шепчет умирающий: помилуй мя, Боже, по вели-

цей милости Твоей.

А когда умирает, обращается в рыбу.

И уплывает в белое молочное море; под белое тесто всходящих поутру туч; в легкий, ласкающий перламутр северного солнца, что светит белым рыбьим глазом и в черной, великой ночи.

Все! Не поймаешь. Ушли мы. Уплыли. С твоего мерзкого, гиблого Корабля.

Мы теперь на свободе. Мы ушли от погони. И не страшен нам боле... пистолета... заряд...

А утром, после морозной лютой ночи, приходят бравые вохровцы, на горячей груди тулупы распахнув, водка в кармане, пули в нагане, и открывают замкнутую на чугунный замок дверь. Ух ты! Веселуха! Мерзлые твердые людские тела вываливаются из пещерки, ложатся одно на другое. И правда, сельди! Сельди в бочке! Ай да селедочница! План по убийству перевыполнен! Отродья старого мира! А что с ими таперича, Федька! Да облить бензином, Яшка, да пожечь! Вон, на бережку, за валунами!

Рыба качается. Рыба трясется. Соленый маятник.

Гляди, Бенька. Слюней тебе все одно не утереть.

Крепче в жердь вцепляйся. Ты легонький. Не упадешь.

Вон соседка твоя, Корнелия Дроссель, упала. Без сил.

Лежит и плачет. Подходит охрана, с запасенным загодя бревном. Вертит в черных обмороженных пальцах верев-

ку, свистит сквозь серебряную фиксу Федька Свиное Рыло. Федька – любовник начальницы. Прислали чекистку, злее пса. Если бы можно было, она бы людей ела, с маслом да с подливкой.

Бенька кричит: не троньте ее! Федька обматывает Корнелию веревкой на пару с бревном. Бревно, первый и последний любовник. Да давно уж изнасилована Корнелия, живого места нет. Ей смерть лучше. Им всем смерть лучше.

А кому-то суждено выжить.

Зачем?

Поворачиваешь голову. Следишь за рыбой. Убери ее с глаз моих! Ржет, как конь, палач. Мазнул ему рыбой по носу. Бенька ноздри раздул. Язык высунул, пытается до кончика носа достать: хоть запах слизать.

Качается медный копченый маятник. Должно быть, драгоценная рыба; и не беломорская, а видать, из столицы привезли. На поезде. В ящиках со жратвой, что из Кремля, по приказу наркомов, сюда посуху и по морю доставляют. Для военных пиров. Для разгульных, сытых вечеринок. Там на столах лежат нагие мужики на тарелках. Там разрезают юных девочек ножом фамильного серебра на две половинки, посыпают солью и перцем, поливают ароматным подсолнечным маслом. И – в рот, и в рот, в рычащую подземную глотку, и зубы мелют, перемалывают кровавую вкусноту чужой плоти, жадной яростью – смиренную любовь.

– Ну же! Шо вылупил зенки! Давай! Хватай!

Нет. Бенька не пойдет на уловку. Его не купишь. Не подобьешь. Он закрывает глаза. Рыбий копченый, сумасшедший запах все равно остается. Висит рядом. Рыб все знает про Беньку. Кто он таков, и зачем он тут.

Острова Соловецкие, корабли купецкие. Струги тюремные, волю подъяремные.

Монахи сирые. Небеса – дырами.

– Ах ты волчонок шелудивый. На! Жри!

Рыбой грубо тычут ему в щеки, в зажмуренные веки.

Кто ты такой, Беньямин? И как фамилие-то твое?

Мое фамилие я забыл.

А что ты знаешь? Помнишь что?

Я знаю только рыбный запах. Копченый. Икорный. Полоумный.

Вертел головой. Уворачивался. Впустил ногти, как кошачьи когти, в твердую жердь.

Я все равно не упаду. Я не умру!

Изловчился. Вцепился зубами в рыбий хвост.

В медный, позеленелый, жесткий хвост. Сломал зуб.

Грыз медную игрушку, для потехи намазанную маслом.

Зубы крошились, обломки изо рта валялись на храмовые, затянутые плевой сизого голубиноного инея плиты.

Жрет, парни, гляньте-ка, жрет!

А настоящей-то рыбоньки хошь?!

Ловил воздух губами.

Еще человек с жерди упал. Грузно, тяжело тюкнулся. Ле-

жал черным стогом.

Выстрел сух и короток. Палачи тоже устают. Их тоже надо пощадить.

Мое фамилие записано в толстой книге, в конторе; у книги страницы полосатые, бумага желтая, рядом ручка со стальным перышком лежит, и чернильница с черной тушью. И женщина, толще серого приморского валуна, неповоротливая, с блеском круглых смешных очков с мягкими проволочными дужками за огромными, как грузди, ушами пишет в книге пером. Записывает за мной. Что я говорю.

А что я говорю? А имя свое. И фамилие свое.

Тогда я его еще помнил.

Беньямин Бронштейн. Броунштайн, коричневый камень, янтарь.

Взяли вместе с дедом. Дед – плотогон. При царе плоты гонял: из Германии в Швецию, из Швеции в Петербург. Еврей, а царя любил. В Европу гляделся, как в карманное зеркало. Бенька тоже в дедово зеркало глядел. Круглое, озеро из сказки. Витым серебром обрамлено. Маленькая ручка, чтобы держать удобно. Ручка в виде серебряной морковки. Дед хохотал и говорил шепотом: в виде... и непотребное словцо, подзаборное. Бенька зажимал деду рот ладошкой и смеялся вместе с ним.

А по серебряной морковке бегут вниз янтари. Один крупный, со сливу; другой меньше, с вишню; а третий с чечеви-

цу. Чечевица черная. Слива желтая. Вишня красная. Мастер молодец.

Власти скоро конец придет, кричал дед, набивая трубку табаком. Дым вился, излетая из страшной черной, спиленной наполовину головы дьявола. Дьявол будет нами править, плакал дед и выходил на крыльцо их дома в Гавани, и выбивал трубку на снег. Он мог уехать в Германию, с Финляндского вокзала, и паспорта справить, и семейство спасти. Новый мир его опередил. Фаню, дочку, растащили на рыбы кусочки чекисты; Лейбу, мужа ее, сразу в расход; Алиса, жена, поднялась с кровати в ночной рубашке и шла через спальню, полную дыма от ружейных выстрелов, и под пулю попала, и счастлива была – умерла с улыбкой счастья на сморщенных губах, с мелкими слезами ужаса на почернелых сморчках старых щек; дед видел ее счастливую смерть и вслух произнес над ее телом упокойную иудейскую молитву.

Деда и внука не убили. Отчего? Забрали сначала в тюрьму; потом погрузили в товарняк и повезли. Теплой одежды не было. Бенька замерзал. Стучал зубами. Жар поднялся. Тех, кто умирал, выбрасывали сквозь отодранную от пола телячьего вагона доску. Дед снял с мертвеца фуфайку и закутал в нее больного Беньку. Взял мальчика на руки и грелся, к его тельцу прижимаясь.

Так доехали до Кеми.

В Кеми сгрузили их с товарняка, привезли в грузовиках на пристань. Видят: стоят, на волнах колыбельно качаются

грязные плоские, как тарелки, баржи. Куда плыть? Уже все равно. Понимали: не вернутся. Посчастливилось тем, кого загнали в трюм. В трюме надышали, и тепло. Всех, кто на палубе, посекал снег с дождем, и у всех на острове открылось крупозное воспаление. И все перемерли.

И все мертвые народы отпевали свои священники: русских – батюшки, татар – муллы, немцев с Волги – пасторы; а ребе не было, и тогда дед Бронштейн встал во весь свой могучий морской рост и сказал: я буду за ребе! И, как надлежит, по стародавнему обряду, схоронили всех умерших от пневмонии евреев. Бенька стоял, сосал палец и глядел на красивое лицо чернокозой девушки. Ее еще не закопали. Дед стоял и бормотал: «Живущий под покровом Всевышнего...» и, хоть это все не их родня была, покойники, по обычаю надорвал себе рубаху над сердцем. Могилы выкопали за Секиркой. Соленый слепой сиверко сбивал с ног. Бенька подбежал к деду. Выдернул у него из кармана зеркальце. Поднес к лицу красивой покойницы.

А зеркало взяло да запотело!

Живая! Живая!

Дед девчонку на руки схватил. Выхаживал в бараке, как мог. В осенней тайге последний шиповник собирал. Рыбу на самодельную удочку ловил; в жестяной банке варил. И черноглазую кормил. Пустую банку близ конторы нашел. Деда гоняли лес валить. Потом бригадиром рыболовецкой артели назначили. Его все уважали. Он был большой и грозный.

Бенька увидел, как дед и черноглазая обнимаются за поленицей сосновых дров. Дед целовал ее так благоговейно! Как православный икону.

Обернулся на шорох. Сзади стоял Федька Свиное Рыло. Беззвучно хохотал.

После вечерней поверки Федька приказал черноглазой идти за ним.

Наутро черные, опущенные густейшими ресницами глаза выклевали хищные гагары.

Дед пошел драться с Федькой. Федька убил его из нагана. В бараке, обливая Бенькин затылок горячими слезами, тетка Душка, бывшая питерская прачка, вытщила из-за пазухи зеркальце с янтарями и сунула в руки Беньке. Держи! Дедушка мне передал. Чтобы я – тебе – передала! Чтобы... помнил...

Бенька поцеловал янтари. Сознание потерял. Его отливали холодной водой.

Он долго играл в зеркало, как в игрушку, а потом его нагло отнял вохровец Яшка, подбросил на ладони и цыкнул зубом. Оценил. В карман стеганки упрятал. И больно пнул Беньку во впалую грудь.

Расти. Все равно вырасти. Как ягель в тундре. Как мох на камнях.

Носить имя деда.

Ночами он гляделся в серебряную, черную амальгаму неба, сквозь разбитый, решетчатый скелет купола. Церковь,

его тюрьма. Небо, его зеркало. Он кашлял осенью, харкал кровью зимой, и бредил, и плакал, и забыл свою фамилию. И добрая Душка кормила его испеченной в горячей золе навагой, без соли. Слезами солила.

Медную, вкусную рыбу вырвали у него из зубов.

Он все-таки упал.

Лежал и дрожал.

Федька Свиное Рыло подошел, пнул его сапогом и выплюнул ему в затылок:

– Кирпич дырявый!

Им не стали затыкать ни пробоину в лодке, ни свистящую щель в бараке.

И на обед чекистке не поджарили тоже.

Федька всласть избил его ногами, выкатил сапогом на бывшую храмовую паперть. Белое солнце переливалось над морем богатой жемчужиной в кислом уксусе рассвета.

Ночь просидели. Руки онемели. Лбы застыли. Считай, поспали.

Людам приказали спрыгнуть с насеста, и они прыгать не могли, попадали картошкой из мешка, кто голову разбил, кто ногу вывихнул. Валялись, черные дрова.

Потом уползли. Беньку за ноги в барак оттащила старуха Люля.

Волокла и молитвы читала. Про Иисуса Христа.

Внизу, под Секиркой, привязанное к бревну тело Корнелии Дроссель ласкала певучая льстивая вьюга, меццо-сопрано.

Доски. Сети.

Сети и доски.

Бенька крепко держит иглу. Штопает дыры в сетях.

Артельщики гладят его по голове. Волосы курчавые, наполовину седые.

Эх, седой малец! Небесные очи! Худой ты уж очень.

А завтра к нам пролетарский Горький прикатит. На всех парах! На старой доре!

В Муксалму прибудет?

Пес знает. Может, в Ребалду.

Нас погонят встречать?

Как пить дать! И, руку на отсечение, два пайка дадут! И кто в исподнем – в порты и фуфайки нарядят! Чтобы приличные мы были. Смиренно мычали. Скоты Советской страны!

Бенька в бараке складывал руки в виде зеркальца, смотрелся в ладони, видел себя. Люля дала ему пососать ржаную корку. Он сначала держал корку во рту, приказывал себе: соси, соси, – а потом сразу проглотил и чуть не подавился.

Пролетарский Горький приезжал завтра.

А сегодня уже завтра или еще сегодня?

Как орала старая Люля! Она сделала себе саморуб.

На работах – топором – палец указательный себе отрубила.

Такое на Островах часто бывало. Народ мыслил так: порублю себя, и отправят в лазарет.

Люлю ни в какой лазарет не отправили. Лазарета просто не было тут – для них, скотин.

Люля лохмотьями культю замотала. Нянчила руку, как ребенка.

Люлю из ложки свекольной похлебкой кормила товарка. Люля беспомощно, благодарно трясла, как старая лошадь, выужной сивой, жалкой головой.

А у начальницы был врач; личный врач.

Официально он числился лагерным доктором; ходил как тень; и никто не знал, как его звали, и никто никогда не обращался к нему, и он ни на кого не глядел. Пробегал мимо людей, как мимо чумных. Бубонная оспа, черная чума. Шизофренический шуб. Бред, паранойя в расцвете.

Никто не знал: он сослан сюда. Такой же раб, как все они.

Лицо-тень. Пальцы-сухая-трава. Не пальто – крылья мыши летучей.

Это он, человек-плесень, прокричал на рассвете, как про-свистел в хриплую дуду:

– Всем у конторы собраться! Максим Горький едет!

С Муксалмы да на Анзер. Пароход видели все. Он густо, сажево дымил толстой, в три обхвата, трубой. На берег по

трапу сошел: высокий, на затылке кепка. Рядом семенит девка, вся в кожаном: на плечах кожанка, перчатки кожаные, кожаный летчицкий шлем, кожаные до колен сапоги.

Народ топтался у крыльца конторы. Горький шел чуть вразвалку, вроде моряка, кожаная за ним. Взобрался на крыльцо. Воскликнул слабо, высоко, голос дал петуха:

– Здравствуйте, товарищи!

Народ молчал.

Не знал, что в ответ прокричать.

Горького с дороги – покушать увели. Кожаную с ним.

Бенька стоял возле крыльца, переминался босыми ногами. Все тело ломило и ныло. Левая рука в локте не гнулась. Артельщики за его спиной погано, смачно плевали на землю.

И што... Прибыл... Перед его носом – шас флагами помашут! И до отвала треской насатырят. Или селедочкой. Малосольной. Писа-а-атель... што накропает-то про нас... А ты ево читал? А я нет. А я – читать не умею! Мне все едино!

Длинная, путаная сеть. Жжет пальцы.

Сапожная огромная, ежовая игла снует туда-сюда. Мысль снует.

Пойти подстеречь. Спрятаться под крыльцом. Его с кожаной, небось, спать у начальницы в доме положат. На сколько он сюда? Может, завтра уж отчалит. Надо спешить.

Веревки сети обвивали горячие пальцы. Мысли мешались. Глаза запутывались, бились в рыбьей тюрьме. Бенька

кусал и сосал свои губы, и так внушал себе, что ест и пьет.

Заштопав сеть, он встал и вышел из артельного барака. Он трудился тут один. Артельщики разбрелись кто куда.

Крадучись, зверем, побрел к каменному начальницкому дому. Красный кирпич вымазан кровью. Зима умерла, а весна не пришла. Бенька стоял у порога. В окнах горел свет. Лампа под абажуром. У них тоже абажур был, в Питере. Желтый. Цвета яблока или меда.

Кисти абажура шевелил сквозняк. Окно открыто; видать, в доме натоплено щедро, проветривают.

А что, если на цыпочки встать и позвать?

Язык плыл во рту рыбой. Язык тоже можно сосать и вертеть во рту, насыщаясь.

А еще можно прокусить язык и пить него кровь. Свою кровь. Кровь питательная. И так будешь сыт.

Бенька вытянулся. Воровато огляделся. Уцепился пальцами за карниз. Сквозь стекло слышались звуки, голоса. Смех. Звяканье посуды. Что выкрикнуть? «Эй, Горький! Выйди сюда, чего я тебе скажу!» Или что другое?

И тут за его спиной грянуло хрипло, фальшиво, отчаянно:
– Вставай, проклятьем заклеименны-ы-ы-ый... весь мир!.. голодных и рабов... Кипи-и-и-ит наш разум возмущенный!..

Бенька от испуга сел на камни. Острый камень вонзился ему в зад. Проколот штаны и порезал кожу. Кровь текла изпод Беньки на камни, а хор нестройно, страшно орал в ночи,

на морозе:

– И в смертный бо-о-о-ой... вести-и-и-и... гото-о-о-ов!

Бенька пополз на животе. Удрать! Иначе его тоже в строй!

И петь заставят!

Он знал: Интернационал – на всю ночь.

Вохровцы расхаживали вдоль хора. Ветер трепал мужичьи кальсоны.

– Ве-есь мир насилья мы разрушим!.. до основанья!.. а за-те-е-е-ем...

Бенька полз ужом. У него сплющилась голова. Ноги слиплись в один извивный хитрый хвост. Уйти. Не даваться. Он не хочет петь всю ночь! Задохнуться! Забить глотку морозом звезд! Стукнуться булыжными коленями о черную кость земли!

– Мы наш! Мы новый мир постро-о-о-им!

Под животом Беньки мешались в единую плоть песок, иней, мелкая галька, птичий помет, щепки, ветки, рыбы скелеты. Узкий лунный луч ощупывал валуны. У вохры в руках фонари. Они услышали его, как он ползет! Сейчас увидят!

– Кто был ничем... тот станет всем!

Бенька сжал зубы так сильно, что за ушами хрустнуло. Еще немного. Вон громадный валун. Его артельщики называют почтительно – Дед. Дед, спаси. Дед, помоги! Укрой...

– Это е-э-э-эсть на-а-аш... последний! И реши-и-ительный! Бой!

Рука вдруг представила, что в ней пистолет. Бенька сжал

кулак. В кулаке железо. Он сошел с ума!

– С Инте-э-э-эр... на-а-а... циона-а-а-а... лом... воспрянет... ро-о-о-од...

Бенька перевернулся с живота на спину. Глядел в небо. Вызвездило мощно, неистово; звезды валились с зенита Беньке на лицо, на руки, в рот. Кулак поднялся. В кулаке наган. Тяжелый. Он отнял его у Федьки Свиное Рыло в честной драке. Сейчас он его уложит. За черноглазую. За украденный мир. За отрубленный сморщенный пальчик старухи Люли.

– Людско-о-о-ой! Это есть...

Выстрел! И еще!

Это раскатилось в камнях. Рыба встопорщилась в сизой, медовой толще воды, подняла муть со дна и пошла вверх, подняв морды, вращая звездными глазами.

– Наш! Последний!

Бенька поддерживал левой рукой правую руку. Каждый выстрел отдавал ему в плечо, и его покачивало, будто он взрослый и пьяный.

– И решительный!

Голубые лучи фонарей нашли его, скрестились. Выхватили из тьмы.

Эй! Братва! Яшка! Тут малец! Ишь, червяк! Побег! К лодке ползет!

Сразу кончать будем?!

А хтой-то? Армяшка? кудреватый, а! кудри в инее! белые все!

Да Беньямин из Голгофского барака!

Вставай! Вставай и в строй! Пой! Рот разевай!

На берег из леса вышли песцы и медведи. Волки сидели меж камней и выли на звезды. Собаки свесили розовые языки. По языкам на гальку текла собачья слюна. Звезды текли молоком. В молоке вымокли волосы. Под струями молока вздрагивали губы. Пистолет выпал из разжавшихся пальцев, лязгнул о кровавый мясной гранит. Пуля сама, танцуя, медленно вышла из ствола и взмыла, и порхала снежной птицей, искала, на кого бы сесть, кому бы влиться в душную, черную кровь.

– Б-о-о-о-ой!

И, танцуя, весело поднимая ноги-кочерги, пошел, пошел разудалый пацан на длинный, в ночи, хриплый крик, он же песня, он же гимн, он же гробовой вой; раскинув руки, полетел, сам став пулей, сам настигая и карая, и хохоча от счастья, и ослепнув от воли.

– С Интер... на-цио-на-лом... воспрянет!

Он всех поразил. Всех убил. Он – один – летя и разя – убил всех.

Палачей больше нет. А узники поют!

Спеть вместе с ними! Это песня победы! Песня свободы!

– Род... людско-о-о-ой!

И замолчали. И крик:

– Гражданин начальник... не можем больше... пусти! Или скопом всех – убей!

Молчали. Бенька не видел, не слышал, как подошел охранник в белом овечьем тулупе, убил одного, второго, третьего; как орал: «Щас запоете!»; как, упав на колени, баба вопила и щеки, и косы пятернею драла. Все вдохнули соленый мороз и разинули рты.

– Никто не даст нам избавленья...

В землянке, на юру, под сосной, над морем, медленно крестился старик у косматой чадной лампы. Пуля и пистолет стали черным созвездием и сияли далеко, высоко. Бенька оглох и ослеп ко всему, что не было этой красной, огненной, свободно пылающей песней. Стоял и пел, себя не слыша. Распухший язык с трудом ворочался во рту. А глотка расширялась свободно, воздушно, всесильно.

В жару бредил в бараке. Явился врач. Опустился и обволок, как туман. От него пахло плесенью.

Он засунул Беньке в рот таблетку аспирина, и Бенька вспотел, аж вымок весь.

Одежду на себе высушил. Разлепил глаза.

К вечеру всем было приказано явиться в клуб. Бенька полизал ладони, пригладил кудри: так причесался. Сложил рядышком ладони и поглядел в тайное дедово зеркальце. Понравился сам себе.

В клубе народу полно. Вохровцы курят в коридоре. Скотам – не разрешено. Многие забыли запах табака. Рожи кричат, униженно просят охрану: эй, мужик, дай курнуть! Либо

щелбана влепят, либо выдуют дым тебе в лицо. Никого никогда ни о чем не проси. Догонят и еще добавят.

Загнали в зал. Народ двигал стулья неловко, шумно. Ножи стульев царапали по полу, деревянные лапы. Рассаживались неровно. Охрана тишком раздавала подзатыльники. Бенька пробрался ближе к сцене. Сел, руки на коленях, открыл рот. По лбу на брови тек пот: жар еще не весь вышел. На сцене сам собой, будто великанским грибом из пыльных досок вырос, возник мужик-дылда с яркими и страшными голубыми глазами. Зал захлопал в ладоши. Задавил глаза-барвинки черным углем. Человек стряхнул угольную крошку с седых могучих усов и обвел зал суровым взглядом. Зрочки его плясали. Он поправил невидимые очки. Волосы у него за ушами слиплись. Белесые, цвета дохлой рыбы, пряди. Старенький. А бодрится. Раскрыл под усами рот, блеснул серебряный зуб. Откашлялся. Забормотал тихо. Потом возвысил голос.

Бенька слушал и смотрел, открыв рот квадратно, спичечной коробкой.

– Дорогие товарищи! Много чего я увидел на Островах и вчера, и сегодня. Два этих дня никогда не забуду! Отраднo то, что вы все трудитесь на благо нашей родной социалистической Родины! И это... – Пальцем выковырял слезу из угла глаза. – До того это важно! Вы же все здесь изменились! Изменились?

Зал молчал.

– Изменились?!

Голос пролетарского Горького внезапно расправил крылья и толстобрюхой чайкой полетел над черноголовым, смиренным залом.

В тишине слышно, как далеко, в мире ином, на ветру, над морем, охотясь на жирную рыбу, кричат живые злые чайки.

Вохра зароптала: ну, эй... Подайте голос-то... че сидите, мертвяки... в рот воды набрали?!..

Люди молчали. Горький покашлял в кулак.

Чахоточный, что ли?

Бенька, чтобы спасти всех от битья и расстрела, провыл волчонком, заправив кривые ноги под стул:

– Измени-и-ились!

Зал обернулся к Беньке и сначала слабо, потом все отважней захохотал, заколыхался.

Горький погладил усы ладонью и облегченно заговорил.

О чем он говорил – Бенька не понимал.

Люди хлопали, сжав зубы. Улыбались натужно. Украдкой плевали в кулак, будто сплевывали табачную обильную слюну.

Над головой Горького красным огнем горел широкий транспарант. Белилами намалевали по нему, буквы криво плясали, хмельные: ДАЕШЬ СТРАНЕ УДАРНЫЙ ТРУД!

Сзади подойдут, размахнутся кувалдой, ударят по затылку.

И бросят еще теплое бревно на берегу; под клювы радост-

ных белых, черных, пестрых птиц. Под зубы пышнохвостых песцов.

Кажется, конец красным речам! Горький прижимал руки к груди, как певец. Кланялся смешно, мотал головой, как баран. Спустился со сцены в зал. Ближе к народу. Народ встал и хлопал стоя. Подойти боялись. Горький приглашающе развел руки: давай, товарищи, сюда, ко мне!

И его обступили быстро, мгновенно. Охрана ничего поделать не могла. Только зубами скрежетала.

Люди трогали Горького, как священника, за руки, за обшлага, за локти; теснились ближе, горячее; говорили, хрипели, шептали, рапортовали, лепетали. Обрушивали на него всю мощь глубоко запрятанного горя, а он стоял, не падал. Руки на головы детям клал; вон, вон они, дети, набежали. Там, под ладонями Горького, два паренька из пятого барака. Фофа и Темка. Высоко, звонко бьются голоса. Двери в зал открыли, пыль выдувает сквозняк.

– Долго с писателем не говорить! Кому сказано!

Горький голову баранью закинул, прищурился на кричавшего.

– А что? Запрещено?

Вохра мялась, поправляла наганы на поясе в кобурах.

Бенька подsunулся поближе к Горькому, к рою народа, на подсогнутых слабых ногах. Вытирал пот с висков и под кудрями. Слышал, как колокольцем, ярко и отчаянно, звенит Фофа:

– Товарищ Горький! Я все вам расскажу! Все! Только выслушайте! Что тут с нами...

Темка двинул локтем Фофе в бок.

– Цыть, ты...

Горький расширил и скосил отсверкивающие белой соленой пеной, бледно-синие покаянные глаза.

В глазах его море плещет, подумал Бенька.

– Ты... – Склонился к Фофе. – Ты знаешь что, друг... Я в доме товарища Ковалевой. Приходи после отбоя. Я договорюсь, тебя пустят. Посидим вечерок... побалакаем...

Как с равным, завистливо наблюдал Бенька.

– И я тоже хочу! Как мы тут...

Темка наложил Беньке на рот грязную, в занозах, ладонь. Зашипел на ухо:

– Отзынь... Тебя не хватало... Опасно это все... Пришьют Фофку-то... Дурак он... а ты-то не дурак?!.. или дурак...

Стояли, взявшись за руки. Горький гладил Фофу по бритой голове. Отросла мягкая бархатная щетинка. Гладил, как тонкорунную овцу. Глаза наливались синими слезами.

Раздвинул толпу эков жесткой рукой. Пошел к выходу из зала. Крепко держал Фофу за руку.

Красное полотно с белыми зимними буквами кричало над головами о вечном труде.

Горький проговорил с Фофой всю ночь.

Чекистка Ковалева материлась в душной спальне, шупала

пистолет под подушкой.

Рабыня из Череповца, товарищ Пугина, то и дело подкладывала дрова в печь: заморозник гудел над морем, железный, обжигающий северо-восток.

На рассвете Фофа уснул на кровати писателя. Горький укрыл его стеганым одеялом. Сел у окна на табурете и плакал. Море вытекало из его глаз и плескало на скуластые сосновые щеки.

Когда белое солнце всплыло над валунами, Бенька с артельщиками вышагивал по берегу к лодкам. Громадную сеть на плечах волокли. На труп Фофин наткнулись. Фофа лежал весь избитый. Раскинул руки – небо обнимал. Смерть свою любил. Смерть на Островах была всяко-разно лучше, чем жизнь.

– Помянем раба божия Феофана, – бригадир Лемке перекрестился.

Рыбаки стояли и глядели на мертвого мальчика.

Как мученик умер... Царствие небесное...

Надо монахов попросить, они в землянке панихиду отслужат...

Не успеешь на всех-то отслуживать... нас-то тут всех ой-ей сколько... как звезд в небесах...

Бенька сел на корточки. Трогал распухшие, в рубцах и порезах, Фофины ручонки, щеки, плечи. Из-под песка, из-под туч доносились вздохи: печень размолотили... вышибли мозги... поищи рану, а может, пристрелили, сжалились?..

Бенька засмеялся, обнял колени и перекатился на спину. Так, челноком, вопил и хохотал и катался по берегу, и песок налипал на фуфайку. Вместо Люли теперь Лемке кормил его после ловли печеной рыбой. А Люля утопилась. Зашла по плечи в море и окунулась с головой. И вдохнула холодную воду, насытив себя до костей, до сердца последним крещением.

Кто сумасшедший? А, это он сумасшедший?

Кто тут воистину юродивый? А, это я воистину и непременно юродивый. И меня же, меня одного называют Беньямин Блаженный.

Закрыв глаза. Мир померк. Мир вокруг – это всего лишь изощренная ложь; люди нагромодили ложь на лжи, как красные кирпичи, и верят, что все настоящее. А подлинный мир – в небесах. Там огромные библиотеки, полные небесных книг с золотыми, шевелящимися, ласкающими плоть и дух страницами, и на страницах вспыхивают и гаснут золотые буквы, горят знаки, мерцают рисунки Того, Что Есть Всегда. Все, что временно – ужасно! Это плесень. Ее счищают ножом. Вытирают обмакнутой в содовый раствор тряпкой. Отскабливают мелким песком. Золотым песком! А не поддается – выжигают пламенем.

Огнем сердца, в ночи горящего.

Эти кровати? Никелированные шарики? Эти решетки на окнах? Он, лишь он один, Беньямин, глаголет людям о Бо-

ге. И Бог – не иконка. Не картинка на штукатурке храма. Не затверженные тексты унылых молитв. Бог – бесконечное сияние над ледяным морем. Когда ты увидишь это сияние – оно обвернет тебя в пелены, восхитит, и полетишь. И не вернешься.

Священнобезумие! Род небесного счастья здесь, на земле. Он – сподобился. Вот бутылка с кагором в его руке. Вот кружка. Посреди пролетарского града вырыть землянку и там свершать требы – не все такое сумеют! Не все насмелятся. Он – охрабрел. Вообрази струящийся кагор, темный, кровавый, сладчайший, и он заструится из горлышка темного, багряного стекла. Кружка – потир. С кухни хлеб украл; паства причастия ждет.

Железный потир, фабричный грязный сплав. А стал серебряным, и на выгибе серебряная чайка летит, а на обратной стороне серебряной святой Луны – закинутый лик Феофана, святого мученика Фофы. Литургисать ночью в палате! Разве есть в мире что слаще!

Боже мой, Боже, о. Слаще тебя нет ничего.

Слаще пылающей крови твоей – души-птицы убитых людей.

Вон они, в небо летят! Вон они, есть хотят!

Брось, брось крохи сердца им. Брось; все кровь, все песок, все дым.

Твоя усмирительная рубаха сегодня развязана; ты сам в нее облачаешься и сам разоблачаешься, тебе врачи, мило-

стивцы, разрешили. Ты сам себе хозяин. Сегодня длинные рукава не заткнуты за пояс, за штапельные простроченные ремни, и ты можешь сколько угодно расцарапывать себе лицо, бичевать себя ремнями, коленями на острых приморских камнях стоя.

Ночь и палата. И Святые Дары. И он сам стоит в полный рост, огромный, монумент, гора, валун. А маленький! Такой маленький! Лишь глаза весенние – в пол-лица. Седые лохмы ржаной лик обрамляют. Власы посыпаны крутою солью. Морщины жесткой кистью прописаны. Лоб изрезан ножами времени. Сам себе икона. Сам себе еда. Сам себе питье. Сам себе причастие. Сам себе тюрьма. Сам себе воля.

Сам – себе – Церковь.

На камне сем, беломорском, я созижду Церковь свою; и никому, никому ее не отдам.

Вам всем, страдальцы. Вам, родные.

Кого вешали, жгли, били, стреляли. Кого вялили – рыбой – на леске – меж сараев.

Качаясь, пошел по палате: в руке кус ржаного, в другой кружка с красным, оставшимся от обеда компотом. Подошел к окну. В окне Луна. Помнит ли он что-либо при Луне? Или от радости зреть ее чистый, Богородичный лик сходит с ума?

Схождение с ума, так это просто. Так насущно. Если тебя заперли, и выхода нет – ты, сойдя с ума, разбиваешь все замки, все оковы. Чудесное спасение из темницы Ангелом и у Петра было. Безумье счастья, слава тебе, слава тебе! Кто

вывел его с Анзера? Разве он помнит? Память, кудлатая собака, прислужница-овчарка, и ты туда же: лаешь, кусаешь, а дорогу не показываешь. Вот она, лунная дорога, под моими ногами. По морю. По соли. По людским слезам. И я иду! Поднимаю потир выше! Причастись, душенька, голубушка Луна!

Поставил кружку с компотом на подоконник. Смеясь, блестя радужками, крошил в кружку хлеб. Помешал пальцем. Облизал палец и закрыл от умиления глаза. О сладость небесная! Великие вечные отцы, вкусите! Великие матери, те, что сгибли в селедочнице, кого растерзала вохра на клочки, насилуя за лодками, за камнями! Ваш отец, ваш Беньямин отмолит у врагов ваших вас; и души убийц и души убитых обнимутся и полетят к золотой Луне, крепко, любовно сплетаясь.

Забормотал быстро, а иные слоги растягивал песней.

– Радуйся, святой Анзер... Радуйся и веселись, святая Муксалма-а-а!.. Радуйся, святая Люля, да пребудет с тобой милость всех звезд ночных, алмазных... Радуйся, святой Артем, иже с тобой убиенные возрадуются! Радуйся, святая Ребалда... Радуйся, святой Федька, ибо погиб от муки внутренней, сам себя убивая, в себя стреляя... да прощен будешь! Радуйся, святой Феофан... ибо...

Горло перехлестнуло. Вспомнил. Не удержал слез, полились сами. Капали в кружку. Взял потир обеими руками и высоко поднял. Кружка качнулась, компот пролился на

грудь, пропитал рубаху. Стало мокро и стыдно. Сзади раскатился злой бас:

– Ты! Придурок православный! Чертовня какая! Время три часа ночи, епть!

Беньямин замер. Он видел спиной.

Спина видела: долыса обритый мужик на койке сидит, буркалы выкатил. Руки перед собой протянул, пальцы крючит. Воздух когтит. Сейчас вдохнет глубоко и скажет: я, марсианин, удивляюсь, как это по-дурачки все у вас тут на Земле.

– Я, марсианин... дивлюсь! как это все тут у вас! на Земле! по-страшному устроено! Больницы, епть. Снадобья. Уколы всаживают. А у нас на Марсе! на Марсе...

Спина наблюдала: закатил глаза, улыбался широко. Вспоминал блаженства Марса.

Они оба блаженные. Надо его понять. Надо его – причастить.

Повернулся. С высоко поднятой кружкой в руках прошествовал к койке Марсианина. Протянул кружку.

– Причащается раб Божий... как тебя?..

Лысый Марсианин приблизил голову и коварно, бычком, боднул кружку.

Компот хлестнул Беньямину в восторженное лицо.

Он высунул язык и слизнул размякший урюк с губы.

– Испей...

В кружке еще плескалось. Марсианин скривил губы.

Схватил кружку и подтащил ко рту. И выпил весь компот двумя глотками.

Беньямин горько, непонятливо смотрел в пустую посудину.

– Это... и все? А другим?

– А другие перебыются. Ты за них – просто так помолись. Утомил ты, православный батька! Вот у нас на Марсе никаких ваших церквей нет. Никакой этой чертовни! А были. Взорвали все раз и навсегда к едрене матери! С песком сравнили! Песочек красный... прекрасный... По каналам лодочки плывут... Гребцы песенки поют... А тут! Блядовня одна!

Руки сжимали пустой потир. Подо лбом звучали выстрелы. Это голуби бродили по карнизу, стучали когтями. Рукава смирительной рубахи мотались, тянулись по полу белой поземкой. Отошел от койки Марсианина. Снова подобрел к окну. Поглядел в стекло. Из стекла на него глядело отражение. Не он. Нет. Невиданной красоты женщина, и улыбалась, и глаза светились тысячью полных зимних звезд. Волосы плыли вокруг лица призраком метели. Он – это он? Или – она? Как ее имя? Какого Бога она родила?

– Мама...

Женщина подняла руку. В руке зажата рукоять. Над кулаком горит зеркало. Крохотное зеркальце; женщина пальцы разжала. Зеркало не падало. Желтая слива, алая вишня, черный птичий глаз чечевицы. Наклонился ниже, ближе к окну. Уловил, ухватил зрачками лицо в зеркале. Старик. Белые

кудри, белая борода. Ты все еще гоняешь плоты по северным морям? Нет православных, нет иудеев. Есть святые звезды в святом небе. Там кончатся все наши муки.

* * *

Вот эта койка. Ее все боятся. Обходят стороной.

Слишком длинная койка. И слишком длинный на ней лежит человек.

Ноги торчат сквозь прутья. Ноги свободны, они не за решеткой.

Пятки распухли. Щиколотки отекли. Будто раки в них впились, и раков отодрали, сварили и съели, а костяные голодные ноги остались.

Ноги есть, а лица нет. Пустота вместо лица. Белая плоская поляна.

Его тут все так и зовут: Бес. Зачем Бес? Почему Бес? Оттого, что сбесился, а назад хода нет?

Лицо у него такое: бесовское. Хитрое, страшное и спокойное. Застыло, вырубленное из льда.

А что с ним? Ты, Мелкашка, скажи! Ты все знаешь тут.

Да что, что! Жену кухонным тесаком укнукал, сына одеялом обвязал, вышел с ним на балкон и вниз сиганул. Сын жив, он жив. Судить-то не судили. Больным признали. Сюда забросили. А сынка в детский дом. На всю жизнь пацан этот прыжок запомнил!

Да, что на всю, так на всю. Бес, говоришь. А этот, у двери, кто?

А это у нас Мальчонка-Печенка. Ляжет на живот, руки с койки свесит, ногтями пол скребет и орет: отбили, гады, все печенки! Все печенки мне отбили! Печенки болят! Печенки скорбят! Вот мы его Печенкой и кличем. Его на ток таскают. Обратно на носилках приносят. На койку складут – лежит и еле дышит, весь облеваный. К ужину очухается; ему рожу нянька вытрет, он сам поест, да ложка из слабой руки валится, звенит. В угол катится, к мышам.

Так, понятно, Печенка. А этот? Напротив тебя?

Бляха! Это Марсианин.

Настоящий Марсианин?

Еще какой неподдельный! Просто с Марса сейчас! Мы его папиросами снабжаем. У него родни нет, и передачи не приносят. Совсем один мужик. Говорит: я и на Марсе одиночествовал. А жрет! Мы его спрашиваем: у вас там на Марсе все такие журуны? Ржет: мы там камни ели! Там – и камни вкусные! А у вас в таком супе гороховом мы – трусы стирали!

Ха, ха. Занятный тип. Судя по всему, обострение паранойи. Ну, а этот? У окна? Мрачный?

О... Это Политический. Мы все в курсе, почему он тут. А вы разве не в курсе? Вам – рассказать?

Не надо. Я в курсе.

Ну вот и я тоже в курсе. И все мы. Значит, не ворошить?

Не вороши. Есть вещи, о которых говорить нельзя.

Понял, товарищ.

Я тебе не товарищ.

Понял... имячко-отчество-то ваше как?

Наплевать.

Наплевал.

А этот? У кого на тумбочке штаны лежат?

А, этот! Уморительный. Видите, в лыжной шапке спит? Это у него колпак шутовской. С помпоном! Он умеет только два слова! Больше не говорит ничего! Ванька его звать. Ванечка. «Вань, есть хочешь? – Угу. – А чего бы ты съел? – Ванну щов!» Так его кликают сейчас так: Ванна Щов. Ванна, это ж почти Ваня. Ну так и повелось. Он уж здесь давно. Я сам два месяца лежу, все сроки пересидел. Выписки жду! А Ванна Щов до меня еще тут, по слухам, полгода отрубил. По больнице шастает без штанов! Орет козодоем! Его Бес вчера ремнем отстегал. Его – в Ляхово отправят. По всему видать. Безнадежный.

Ясно. А этот? С белой бородой?

А! Чудак церковный! Это кто там за окном с большим белым бородом? Это я, это я, Мефистофеля твоя! Православный аферист. Обманом в церковь вступил. Обман раскрыли. А у него уж и ряса, и риза, и приход! Вытурили взашей. Так он ухитрился свою церковь основать. Ну, секту, проще! Сектант махровый! Но забавный! О звездах говорит. И о том, что все наши судьбы в какой-то, черт знает, небесной канцелярии прописаны! Золотыми, брешет, письменами. И он

якобы эти письма читает. И толкует. Не толкует, а токует! Тетерев!

Впечатление, что ваш тетерев в тюрьме сживал.

Как в воду, слушайте, глядели. Лагерник он. А знаете, он по ночам умеет превращаться!

Как превращаться?

А так. Очень просто. Я как-то по малой нужде вскочил. Меня мочегонными накололи. Поднимаюсь, в ту-степь шкандыбать – и вижу: идет. Надвигается.

Да кто, кто идет?

Птица. Орел. Башка орла, клюв крючком, острый, вниз загнутый. Глаз огромный, круглый, трехслойный: в центре алым горит, дальше обод желтый, а снаружи ярко-голубой. Фосфоресцирует. Важно так шествует. Лапы из-под смиренного балахона – шлеп, шлеп. Голову оборачивает: туда, сюда. Глазом косит. Клювом щелкает. Рукава рубахи на груди узлом завязаны. Я его сразу узнал. Бенъямин, умоленный. А репа орлиная. Я от страха аж присел. Ну, думаю, за подол его надо цапать! И на пол валить! Я напрыгнул. А он как меня в темя клювом долбанет! Я света не взвидел. На миг оглох. Всюду настала тишина. И вдруг белые рукава рубахи горячечной прямо как крылья взлетают и хлопают, и он сам, орлище, поднимается над полом! И так висит! Вот вам крест, хоть я атеист и комсомолец! Висит, а я гляжу. Снизу вверх. Чуть в штаны не наложил. Я и молитв не знаю. Он – шаг ко мне. Все, думаю, клонет еще раз, и дух вон! И тогда я не по-

ду разлегся шкурой. Куда рука, куда нога. Валяюсь. Слышу, крылья орла хлопают надо мной. А тут дверь заскрипела. Санитарка с ведром, со шваброй. Ночь кончилась! Нянечка как заблажит: врача! врача! больной на полу! до поста не добежал! умер! Это я, значит, умер. Но вы же видите, я не умер!

Я вижу, ты не умер, Мелкашка.

Нянька-то – меня одного видела! А орла не видела! А я краем глаза видел все: и как он на пол из воздуха рухнул, и как простыней накрылся, и как из крыльев все перья осыпались, повывлазили, пол снегом усеяли. А орел шасть – и сквозь окно просочился, сквозь стекло утек. Я потом подошел: отпечаток морозный. Фигура орла на стекле, блески инея пальцы мне жгут. Вот ты какой пройдоха, думаю. Обернулся – а он лежит на койке, и с головой накрылся. Опять, значит, человек. Только вы не верьте. Не человек он. Не человек!

Верю. А ты человек?

А я – человек! Черт... а может, и я... тоже...

А этот, вон там, в дальнем углу? Это кто?

Этого – недавно притащили. На носилках. Он в сарае дрова рубил и себя зарубил. По шее себе рубанул. Рану зашили. А он в себя не приходит. Горе, кричит, у меня, жить не хочу! Да кто из нас тут хочет жить? Да почитай, никто. А за чем жить? Под красными флагами и без нас весело. Вихри враждебные веют над нами! Темные... силы... нас злобно... гнетут...

Ты будешь жить. Тебя вылечат.

Спасибо! От чего вылечат? От жизни? Так мы ею все бо-
леем. Если бы в руки мне топор – я б себя тоже рубанул! А
что! Миг один. Темно в глазах, а боли не боюсь. Если надо,
уколюсь!

* * *

Боланд растирал себе грудь рукой. Возил, крутил ладонью
по халату, и жестко накрахмаленный халат белым наждаком
царапал ладонь.

– Что вы, Ян Фридрихович? Замерзли?

– Сердце жмет.

Толстая Люба сердобольно порылась в необъятном карма-
не. Вытащила початую пачку валидола. Выдавила большим
пальцем таблетку.

– Под язык. И не спорить!

– Ваш валидол дерьмо.

Но взял, кинул в рот, чмокал как ребенок.

Тайно оглядывал пухлые, щедрые Любины стати.

«Вот пропадает баба. Годов ей за тридцать. А то и к сорока
подкатывает. Сколько дитяток нарожала бы уже! А толчется
в желтом доме. Ни зарплаты, ни мужнишки, ни жилья».

– Любовь Павловна, вы по-прежнему на съемной кварти-
ре?

Смущенно отвернулась, заалела. Стыдится как школьни-

ца, даже смешно.

– В комнате.

– Ах прошу прощенья. Я грубый неотесанный мужлан. – Сосал валидол, как монпансье. Безжалостно, вынимающими душу зрачками щупал, колол румяное Любино лицо с тремя царскими подбородками. – Приведите меня в вашу комнату.

– Ян Фридрихович!

– Не шумите. Я пошутил. Чаю попить.

– Знаем мы ваши чаи.

– Не знаете вы, Люба, ни черта. Жизни вы не знаете. Знаете только ваших больных.

– Наших.

– Черт с ними. Наших. Но они – не жизнь. Они – патология. Это все мусор, отбросы. Мы тремся возле них и сами в отбросы превращаемся. А этого нельзя допустить. Вот представьте, сдобный пирог! А его поливают мочой.

– Фу. Как вы...

– Да! Могу! Могу! – Кричал понарошку сердито, глаза смеялись. – Я в психиатрии двадцать лет! А профессор Зайцев всю жизнь! Судьбу человек патологии отдал. И что? Результат? Корвалол в кулаке? Грудная жаба?

– У него книжки. У него... звание...

Боланд шумно, разбрасывая стулья, подошел к окну.

– Звание! Эта чертова ординаторская? Эти жуткие рожи в палатах? Мы им служим! Они наши хозяева! Не мы над ними владыки! Они – над нами! И знаете? Если псих кого убьет,

над ним ведь суда нет! Он – неменяемый! Неподсудный!

Люба зажгла плитку. Спираль раскалилась мгновенно. Люба грела над плиткой руки, передергивала плечами. Под халатом свитер, и все равно холодно. Лютая зима в этом году. Говорят, до сорока градусов мороз дойдет. Как в Сибири. Волга и Ока с Откоса – как железные вилы лежат. По льду танки пройдут – не провалятся.

– К себе не приглашаю, а здесь чайник поставлю.

– Воды набрать?

– Не надо. Налила.

Чайник зудел комаром, посвистывал. Люба беззастенчиво разглядывала выбритое сизое длинное лицо Боланда. «Властный какой. Лишь бы покомандовать. Выйди за такого! Из угла в угол загоняет. Нет уж, лучше одной. А в гости – набивается. Обойдется».

Боланд улыбнулся твердыми, чуть вывернутыми губами.

– Любовь Павловна. Вы когда-нибудь инсулиновую терапию кому назначали?

Наморщила лоб.

– Да... Нет...

– Хотите посмотреть, как это делается?

Чайник выпустил белое облако. Люба умело сыпала чай в заварник. По ординаторской разносился запах веника.

– Можно бы.

– Тогда идемте.

– А чай?

– После чая.

– А у меня к чаю ватрушки. Сама пекла.

– Валяйте ваши ватрушки!

Ели и пили стоя. Прихлебывали громко, дуя на чашку, обжигая вытянутые трубочкой губы. Смеялись. Чувствовали себя странно: детьми, заговорщиками.

– А это не опасно?

– Что? Инсулин? В психиатрии все опасно. Мы все идем по лезвию, Люба. И вы это знаете прекрасно. Но у нас другого выхода нет. Иначе зачем мы все здесь? Вы ведь любите ваших психов?

– Наших.

– Вашу мать! Простите великодушно. Наших.

Хохотали. Оборвали хохот. Люба утерла рот ладонью.

– Вкусно?

– Немыслимо. Вы сами как ватрушка. Так бы вас и съел.

Ожег карими, наглыми глазами, мокрыми веселыми вишнями.

– Творожок деревенский.

– Творожок не инсулин. Ешь не хочу. Пошли!

Пошел вон из ординаторской – крупными, сильными широкими шагами, и Люба засеменила за ним уточкой, переваливаясь с боку на бок, осторожно неся пухлый живот, и казалось, что баба беременная и себя бережет.

– Ей все эти дни вводили инсулин. Я распорядился не

тридцать единиц, а сразу пятьдесят. И прибавляли не по шесть, а по десять. Крепкая. Организм устойчив к инсулину. Несмотря на то, что алкоголичка. Я думал, у нее коматозная доза тридцать, ну там сорок единиц. Ну пятьдесят. А сегодня делаем девяносто – и хоть бы что. Правда, потеет обильно. Белье меняем. Но, может, жарко в палате.

Больные лежали как мыши. Стреляли глазами. Синичка тихо постанывала.

Боланд обернулся к Синичкиной койке.

– Больная Неверко! Что с вами? Вам плохо?

Стоны затихли. Боланд сложил ладони замком и хрустнул пальцами.

– Я хочу сейчас ввести ей сразу сто единиц. Это заведомо кома. К бабке не ходи.

Сестре стояла наготове. В руках лоток. В лотке два шприца. В шприцах прозрачные жидкости. Одна смерть, другая жизнь.

«Черт, это же как мертвая и живая вода. Сказки сбываются».

Любины светлые, опалово-голубые глаза под шапочкой глядели прямо, серьезно, сосредоточенно. «Я для нее профессор. Почти как Зайцев. Ишь как наострила уши».

Обернулся к сестре.

– Давай!

Зачем они подошли так близко?

Эти птицы. Эти звери.

Это люди, у них руки и ноги.

Человек с головой крокодила. Женщина с головой змеи.

Кобра раздувает клобук. Глядит на зубастую пасть.

Крокодил улыбается. Он улыбается ей, Маните.

Манита, кричит каждый желтый зуб в крокодиловых деснах, какая же ты глупая, Манита! Ты даже за себя не можешь постоять.

Еще одна подошла. У этой над плечами мотается, трясется трусливо морда овцы.

Овца блеет: что надо, хозяин?!

И Крокодил щелкает зубами: давай, начинай!

У Овцы в руках тонкий, узкий серебристый флакон. Может, там водка? Дайте выпить! Дайте! Дайте!

На Корабле у кока, на камбузе, в бутылках, в заваленных соломой ящиках хранится ямайский ром и французский коньяк, и аргентинское вино, и китайская змеиная водка.

А чистый спирт – только у врача, у корабельного лекаря, у коновала.

Крокодил машет рукой. Овца ловко задирает Маните рукав. Обжигает холодной мокрой ватой. И серебряный флакон внезапно выпускает дикий острый клюв. В виде иглы. Игла прокалывает руку насквозь. Прокалывает сердце. Выходит под лопаткой. Выходит навывлет, серебряной пулей. Тело изгибается. Тело будет бороться. Если вы мне душу убили – тело живо пока!

Манита выгнулась на койке коромыслом. Закричала. Опираясь кулаками на матрац, медленно, страшно, через силу поднималась. Размахнулась. Силы прибыли. Она больно, наотмашь, ударила кулаками по морде презренную Овцу. Выбила ей из рук лоток. Лоток с лязгом упал на пол. Синичка стонала. Крокодил выпустил сквозь зубы ругательство. Красный язык Крокодила дрожал в слюнявой пасти.

– Поди новый шприц с глюкозой набери!

Овца, поджав хвост, бежала по коридору и орала:

– Санитары в девятую! Санитары в девятую!

Солдатский топот ног. Рожи больных высовывались из-за дверей. За стеной мужской голос пронзительно завопил, подхватывая концерт женщин. Вбежали солдаты, запахло потом гимнастеров, они засучивали рукава, гремели сапогами. Наваливались, мяли, насиловали, закручивали руки. Сейчас будут стрелять. Всегда – будут стрелять! Нам без выстрелов нельзя! Такие уж мы! Нам – нельзя – без смерти!

Манита выгибалась, била по матрацу ногами, трясла головой. Волосы лезли в рот. Ее за руки держали дикие звери: тигры, ягуары. Она таких только на картинках видела. С тигра сползала вниз, по шерстяному боку, красная масляная краска. И черная ползла. И опять красная. Ей руки ломали. По ногам били. Держали крепко. Но она все равно вырывалась. Пот лился по телу холодными ручьями. Боль поднималась изнутри и заливала мозг, выкручивала мышцы. Она дергалась, будто кто дергал ее за веревки, привязанные к но-

гам и рукам.

Сон обнимал. Сон надвигался и падал сверху. Сон поднимался снизу, из-под койки, из под ее железных тяжелых ножек. Где я и кто я? Меня уже нет. Я птица, и сейчас взмою, пробью головой потолок и улечу с вашего пыталного Корабля. Крокодил, уйди! Вот мой кулак, выбью тебе все зубы.

Подняла руку. Пальцы слабели, в кулак не складывались. Ноги подергивались и подскакивали, будто кто лупил ее молотком под коленки. Видимый мир расплывался белесыми, серыми пятнами. Мир становился слепым, безглазым. Мир больше видел Маниту. И Манита плохо различала мир. Мир, куда ты?! Постой! Вернись!

Она хотела опять размахнуться и ударить. Рука бессильно упала на матрац.

Я бьюсь с вами, звери! Бьюсь! Я вас всех... перебью...

Я не хочу... я не... я...

Не я...

Не...

Она видела то, что обычный человек не в силах увидеть никогда. Хвостатые ящеры медленно, важно подходили к ней. Огромные хвосты подламывались и рушились, накрывали ее пахучими темными лапами, и она перестала видеть небо и свет. Мышцы растворялись, размокали хлебными корками в молоке, выливались остывшим чаем в мертвое блюдце, на скатерть, на натертый мастикой к праздни-

ку цветной паркет. Трехголовый змей хохотал, выпуская из трех пастей дивный голубой огонь. Одна голова грызла Манитину руку; другая терзала ее волосы; вырванные пряди валялись на золотом песке, кожа кровила, красные пятна расплывались на золоте, впитывались всепожирающим временем, исчезали.

Это снег! Это холст. Но я не помню, что такое холст! И себя ты не помнишь?

Ты не помнишь такую себя?

Вместо рук у тебя ноги. Вместо ног – руки. Вместо щек – низ живота. Вместо рта – горячая вагина. А зачем тебе язык? Это теперь не язык; это ты стала мужчиной, на миг или навек, все равно. Высунь – втяни, высунь – убери. Игра такая. Игра в любовь; игра в ненависть. Игра в телеса, они разные, и они у всех одинаковые. Какая разница, женщина ты или мужчина?

Вместо глаз извне тяжелые чугунные телескопы наставлены на тебя; и ты сама себе астроном, рассмотри же себя, как звезду. И ослепни.

Перед выпуклыми всевидящими линзами плывут картины. Они живые. Они меняются ежеминутно. Ты голодна – а они кормят тебя. Вливаются в тебя, заполняют тебя. Тебя сейчас вырвет, а они все втекают в тебя, распирают изнутри. Ты лопнешь! Кожа порвется! Терпи. Терпеть – больно. Терпеть – сладко. Терпеть – невыносимо. Ударь, молния! Прорви меня! Рассеки! Пусть вся краска вытечет на холодный

белый кафель!

Вихрь. Вокруг тебя вихрь. Стань вихрем. Обратись в ветер! Ты же можешь. У тебя нет границ. Третья голова дракона прокусила твой череп; и весь красный воздух вышел из него, и взорвался под мирным небом, и ты сама стала войной и любовью. Крикни им, как ты их всех любишь! Крикни дуракам!

Дураки! Я вас люблю!

Дураки... я вас...

Вместо живота – солнце; оно сожжет все вокруг, берегитесь. Из пупка бьет бешеный свет. Белый, медовый, красный круг крутится, пылает, переливается изнутри, и сквозь тонкую перламутровую кожу летят, стреляют длинные, мощные, неумолимые лучи. Человек – зверь?! Человек – луч! Вы не заточите свет в тюрьму! Вы не изнасилуете его литием, инсулином, иным лекарством; не свяжете бельевыми веревками; не надаете ему пощечин; не разобьете его, как стакан или рюмку! Ах, рюмочка, моя голубочка... Я – свет в твоих хрустальных гранях! И я – из себя самой – за свое драгоценное здоровье – пью!

Дураки! Выпейте со мной!

Как больно! Как больно! Как больно!

Манита выгибалась на койке в чудовищных судорогах. Люба, вцепившись до белизны пальцем в спинку койки, не отрывала от женщины глаз. Чем она провинилась, что ей

назначили такое лечение? На один сумасшедший миг Люба стала ею, этой странной распатланной больной, похожей на какую-то трагическую актрису, кажется, итальянскую, кажется, в военном фильме видела. Там грузовик, и солдаты, и женщина едет с ними в кузове; и у нее такое вот лицо, как у этой... как ее? Касьяновой?

– Ян Фридрихович... – Разорвала слипшиеся губы. – Разве нельзя...

Руки и ноги больной дергались как на шарнирах. Частота дерганий все увеличивалась. Вот она вся уже тряслась. Мелко тряслась, страшно; тряслась голова, тряслись кисти рук, трясся подбородок, вибрировал тощий торс. Люба обхватила голову руками. Сквозь пальцы деревенским творогом лез белый лен шапки.

– Сделайте же что-нибудь! Скорее!

Боланд положил жесткую руку на круглое лунное плечо Любы.

– Стойте спокойно. И смотрите. Сейчас фаза возбуждения начнет проходить.

Губы Маниты выпятились вперед. Вытянулись трубочкой. Застыли. Тело продолжало дрожать. Все крупнее; сильные волны колыхали плечи и живот, голова кивала, соглашаясь с невидимым спорщиком. Пальцы скрючились и схватили край простыни. Цепко, крепко сжали. Потасили на себя.

– Она умирает. Обирается! Так делают умирающие больные. Я знаю. Вы убили ее!

Глаза Любы засверкали. Она сдернула с головы и смяла шапочку. Сжимала ее в кулаке.

Боланд хотел улыбнуться, но не улыбнулся.

– Нет. Не убил. Смотрите. Все только начинается.

Он шагнул к койке и осторожно, умело, как заправский офтальмолог, вывернул Маните верхнее веко.

– Широкие зрачки. А теперь смотрите. Сужаются. Все. Кома.

Пощупал мышцу над локтем. Твердая. Пощелкал пальцами перед носом. Не видит. Вынул из кармана иглу. Потыкал Маните в шею, в щеки. Тишина. Санитары стояли рядом, сопели. Беззвучно вошла в палату сестра. Несла шприц. Чуть не упала через валявшийся на полу лоток. Перешагнула. Боланд взял безвольную руку. Нашупал пульс. Считал удары, шепча: раз, два, три, четыре.

– Брадикардия. Температура падает. Она вся мокрая.

Люба сглотнула.

– Может, доктора Сура позвать?

Теперь он сверкнул глазами.

– Доктора Сура? На черта он тут мне?

– На подмогу.

Покривился. Смолчал. У Маниты подрагивали под веками глаза. Нистагм. Все верно. На свет реакции нет. Бледная, аж голубая. Щеки отливают синевой. Кровоснабжение мозга плохое. Тут важно не перебрать. Время. Надо выждать время; недоберешь – не получишь лечебного эффекта, пере-

гнешь палку – получишь живой труп и реанимацию. Опять лезвие! Лезвие, да, ты идешь, циркач, под куполом по ножу босиком, и ноги ранишь.

– Боже! – закричала Люба в голос. – Что это! Что это!

Оставила спинку койки и судорожно, не помня, что творит, вцепилась в руку Боланда.

Манита вытянула ноги под длинной рубахой. Ноги чуть приподнялись над матрацем. Ступни дико, по-цирковому вывернулись вверх и внутрь. Так заледенели. Руки тоже поднялись, сами собой, локти хрустнули, запястья напряглись медно, железно. Мышцы все вздулись. Пошли по телу каменными буграми. Вся женщина превратилась в уродливую бронзовую скульптуру. Выкрашенную известкой мертвенной белизны.

– Тонические судороги, коллега.

Не отрывал глаз от больной. Внутри себя считал секунды, как удары сердца. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Свое сердце считал, а оно считало время. Манита запрокинула голову назад. Spина ее выгнулась трамвайной дугой. От тела шел жар, как от костра. Потом пошел холод. Она лежала, разведя напряженные руки, будто хотела всех обнять. Ступни, как лица маленьких чудовищ, глядели друг на друга. Она дышала все реже. Боланд считал вдохи. Раз, два, три. Четыре. Манита вдохнула. И больше не вдыхала.

– Маша... У тебя глюкоза?..

Внезапно говорил тихо, почти шептал, бормотал. Будто

Манита спала, и он боялся ее разбудить.

– Да.

– Дай поддержку. Тащи еще кордиамин. Лоток... подними...

Гибко наклонилась красивая сестра, подхватила с пола лоток, сломя голову побежала в процедурную.

Шапочка вывалилась из руки Любы. Боланд поймал ее на лету.

– Наденьте...

– Она умирает...

– Бросьте... пороть ерунду...

Но сам, видела Люба, уже боялся.

Плечи Маниты поднялись над грудной клеткой, и грудь на ввалилась внутрь, как сломанный ящик. Она все так же, дудочкой, держала деревянные губы. Грудь не поднималась. Замерла.

– Не дышит...

– Сейчас задышит!

Не глядя, взял у сестры из рук шприц с кордиамином. Отдал ей – с глюкозой. Закатал рукав, воткнул иглу. Попал в сосуд: под кожей разливалась синяя кровь.

– Теперь глюкозу. Я сам. Перехвати ей руку.

Сестра обкрутила Маните руку выше запястья резинкой, вена надулась, Боланд попал в вену сразу, выдохнул облегченно. Глюкоза вытекала из иглы внутрь. Внутрь женщины. Внутрь смерти. Белая, сладкая жизнь.

«Живи. Только живи. Ты ничего не будешь помнить, что

мы тут с тобой сделали».

Все. Ушла доза! Скулы Маниты из синих стали чуть розовыми. Грудь задышала. Шумно вылетал воздух из носа. Мышцы опять стали перекачиваться под кожей. Судороги усилились. Она закусил губу и прокусила до крови. Боланд схватил с тумбочки столовую ложку и всунул Маните в зубы.

– Эх, черт... надо было палку... Маша, до чего ты дура!..

Руки женщины ожили. Она взмахнула ими и водила ими сначала по сведенному болью лицу, потом махала перед лицом. Два белых флага. Сжались в кулаки. Махала кулаками. Сквозь зубы, с торчащими в них самолетной ложкой, вырвался громкий стон. Такой же стон вырвался у Любы. Глотка под подбородком Маниты вздулась, как зоб у индюка. Клокотанья раздирали ее изнутри. Она била головой по подушке. Санитары навалились ей на плечи. Держали крепко. Она билась. Вырывалась. Она текла лавой. Брызгала ядом. Лилась спиртом. Пьянила их всех, слабаков, недужных, бессильных, сильной и великой водкой. Да! Я такая! Витька Афанасьев всегда говорил: ты пьяная женщина, и ты нас пьянишь. Мы от тебя, лишь от тебя хмелеем!

Румянец внезапно, разом, скатился со щек. Снежная пуста залила лицо. Перестала дергаться. Бороться – перестала. На койку рухнула. Задрала подбородок. Из рта побежала пена. Окаменела. Закатила глаза. Слоновая кость белков сквозь прорези век. Хрипы птичьего горла. Сестра тащила капельницу. Боланд тихо матерился. Люба глядела непо-

движными глазами. Два дорогих опала с красными точками плывущих прочь зрачков под белым крахмальным шутовским колпаком.

Кома пришла во второй раз. Ничего. Такое тоже бывает. Выведем. Не тех еще выводили. И эту вытащим. Маша, калий, магний, коргликон! Маша, камфару! Нашатырь! Не больной. Ей! Пальцем на врача показывал. Люба сама взяла ватку из дрожащих рук сестры. Кололи, искали вены, не находили, опять кололи. Синяя кровь медленно, важно текла в недосыгаемых тонких, водорослевых жилах. Надо было найти кончиком иглы и проколоть насквозь единственный миг, вставший между болью и безмолвием. Нашел. Он всегда находил. Он опытный. Это ему лучше ничего не помнить. Но он всегда помнит все. Ему самому надо бы инсулиновую кому. Пожалуй, он попросит Любу. Она уже насмотрелась. Она уже научилась. Она понятливая.

Всех отослали: санитаров, сестру, нянечек. Обедали, молча стучали ложками. Люба не ела. Она не могла есть. Она сидела на колченогом стуле около Манитиной койки. Смотрела на нее. Пришла Тощая. Потрепала ее по плечу: что восседаешь тут? На это постовая сестра есть! Люба глядела невидяще. Опалы плыли. Прошептала: я слежу за ней.

Когда Манита очнулась, она изумленно обводила глазами плафоны, тумбочки, палату, окно за решеткой.

Где я? Кто я? Люба улыбнулась и заплакала. Ты в больни-

це. Ты что-нибудь помнишь? Я ничего не помню. И я тоже ничего не помню; вот и хорошо, мы обе свободны.

Люба вытирала слезы шапочкой.

Манита лежала недвижно, спокойно, вытянув ноги, тускло глядя в белый потолок.

* * *

Беньямин ловил таракана.

Он ловил больничного таракана, а вся палата глядела на него и хохотала.

Советы давали.

– Ты ловчей, ловчей!

– Прыгни, прыгни!

– А ты присядь! Присядь!

– Да нет, что тут присядь, ты на живот ляг! На пол! Не бойся! Он чистый!

Таракан-прусак резво бежал по полу. Останавливался, шевелил усами. Беньямин подкрадывался. И только заносил согнутую ковшиком руку – таракан срывался с места и заползал под тумбочку.

– Все! Убег к шутам!

Нет. Выползал опять. И выползал на середину палаты, будто дразня Беньямина; и снова Беньямин сгибался в позе ловца и осторожно наострял руку.

– Шалит! Шалит он с тобой!

– Ну, Блаженный, не подведи! Ап!

Беньямин сам не знал, зачем он ловил бедняжку. Потому, что живой? Потому, что другой?

– А ты его тапком, тапком! Хлопни и раздави! Что церемониться!

Ванна Щов бессмысленно глядел на тараканью возню. Качался взад-вперед.

– Ванну щов... ванну щов...

Блаженный прыгнул и накрыл ладонью таракана. Зажал в кулаке.

Поднес к уху, будто таракан был жук и должен был в кулаке биться и жужжать.

– Елочки зеленые! Блаженненький-то насекомое спымал!

Беньямин чувствовал, как у него в кулаке скребутся жалкие, тонкие тараканьи лапки.

Он разжал кулак.

Таракан быстро побежал у него по руке вверх к плечу, заполз на седую голову и с головы плашмя рухнул на пол.

Лежал на спинке, сучил лапками.

Беньямин сел на корточки и заботливо таракана перевернул.

Таракан рванул с места в карьер. Исчез, как не бывало.

Больные зароптали.

– Ну вот! Надо было тапком, тапком!

– Эх, мазила!

– Ты дурак совсем или как?! Они же нам тут продукты

портят! Убивать их надо!

Беньямин поднял голову. Глядел светло, пронзительно, прозрачно.

– Мне жалко его стало.

– У пчелки жалко! – брызгая слюной, крикнул Мелкашка.

– Жалко, – твердо повторил Беньямин, – он такой живой.

Он Божья тварь!

– А мы все тут что, неживые?!

Мелкашка сжал кулаки и потряс ими.

Политический завопил:

– Вон он! Вон!

Таракан бежал мимо койки Беса. Бес спокойно взял шлепанец и холодно, сухо прихлопнул таракана. Насмерть. В лепешку.

* * *

На дощатой сцене прыгали люди.

Они прыгали высоко и неуклюже, по-птичьи размахивая руками. Взлететь они все равно не могли бы, даже если захотели. Софиты слепили их, осветитель то и дело менял цвет – насылал на сцену то поросячье-розовый, то резко-синий, ножевой, то густо-винно-красный, и все заливало гранатовым соком. Красный. Осветителю особенно нравился красный цвет; будто бы через кремлевскую рубиновую звезду лучи прожекторов озорно пропускали, и огромные красные при-

зрачные лужи плавали по сцене, выхватывая из тьмы то толстую тетку в белом струистом платье, вроде ночной сорочки, то жирного дядьку в белых лосинах, дразняще-алых, когда он вставал в красный круг, то необъятных крестьянских баб в деревенском хоре: они изображали пальцами, будто ощипывают ягоду с кустов, а при этом голосили так высоко, беспомощно, пронзительно-визгливо, будто звали на помощь на пожаре.

Складки белого платья соблазнительно очерчивали бока-бочонки толстой тетки. Она широко разевала огромную пасть, оттуда доносились натужные длинные визги. Иногда голос тетки падал вниз, будто с ледяной горки, и люди в зале облегченно вздыхали и громко хлопали. Голос нащупывал внизу густые, плотные, сочные звуки. Потом растерянно всплывал наверх, взбирался выше, выше, еще выше. И опять висел наверху, под потолком темного страшного зала, обвиваясь серебряным звонким плющом вокруг чудовищной хрустальной люстры, похожей на выловленный из океана и подвешенный к потолку айсберг. Люстра в темноте коварно вспыхивала синим, алым, золотым. Стекляшки звенели. Они звенели от лютых морозных фиоритур пухлой тетки. Тетка бегала по доскам сцены и прижимала руки к груди. Зал жалел ее. И, жалея, все громче ей хлопал.

Это была опера.

Коля Крюков повел жену Нину в оперный театр не просто так; у нее сегодня был день рожденья. Коля, я не люблю свой

день рожденья! Лапонька, это ничего. Я тоже не люблю. Ах вот как! Да свой, свой. У меня тебе сюрприз. Я два билета в оперу купил!

Из-за кулис дружно выбежала кучка молодых людей в таких же белых лосинах, как у толстозадого мужика. Дядька встал впереди белоногих юношей, задрал голову, закрыл глаза и залился сумасшедшим кенарем. Пел и сам собою был доволен. Осветитель шарил по белым обтягивающим штанам красными, багровыми лучами. Потом выхватил из мрака лицо толстяка синим мертвенным светом, и всем в зале почудилось – покойник. Дядька упал на колени и стал жадно протягивать руки к толстой тетке, сидевшей в краснобархатном кресле с бумажкой в руках. Тетка время от времени подносила бумажку к лицу и близоруко шарила по бумажке густо накрашенными глазами. При этом они оба продолжали высоко и отчаянно визжать, а хор белоногих молодчиков гудел сзади пчелиным роем.

Нина обернула рассерженное лицо и посмотрела на Крюкова. Свела пушистые черные брови в одну прихотливо изогнутую дугу. В темноте, в высверках высоких и далеких, стрекозино позвякивавших хрусталей блестели ее глаза и зубы.

– Колька... Тоска какая! Это не пение. Они поют фальшиво!

Крюков заботливо склонился к жене.

Его гражданская жена. Его законная – далеко, в Москве.

С Ниной он прожил уже семь лет. Сказал: сразу, как с Ритой разведусь, на тебе женюсь.

Риту вызывали в суд уже два раза. Оба раза она не соглашалась на развод.

Дочка в школу пошла. В метриках напротив фамилии отца – прочерк.

Однажды спросила: папа, а ты мне папа или не папа? Папа, папа, закивал он смущенно и быстро, ну а как же не папа! Может быть, вовсе и не папа, протянула дочь раздумчиво; почему тогда я Крюкова, а мама Липатова? И он не знал, что ответить.

К мочкам Нины, смуглым и пухлым, прицеплены перламутровые круглые клипсы. У нее уши не проколоты. Она боялась прокалывать дырки в ушах; мотала головой: первобытный обычай! Боли – страшилась. Серег в подарок не купишь.

Она ждет главный подарок. Свадьбу.

А свадьбы-то все нет и нет.

А Леночка таскает в школу тяжелый, как дыня, портфель, и в нем учебники и тетради, а она читает с трех лет, и смешными кажутся ей все эти «мама мыла раму», «Лара мыла Лущу». Дочь научилась читать в три года по церковнославянской Библии с рисунками Гюстава Дорэ. Древняя скорбная вязь сама складывалась в звуки и смыслы, в вопли, проклятья, шепоты и поцелуи. Буквицы оживали и бежали к девочке, в ее ласковые крошечные ручки, в ее веселые вишневые глаза – так звери бегут на водопой, так олени в пожарищном

лесу бегут от огня. Девочка, медленно шевеля алыми губками, упоенно шептала, тыкая пальцем в заляпаные воском, изъеденные жучком хлебно-желтые, ломкие страницы: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей...»

Колька, она ни черта не понимает! Она притворяется!

Тише, Нина. Брось гневаться. Это ты ничего не понимаешь. Она читает.

Она ни черта не читает! Она играетя!

Она – поет.

Поет, поет! Певица нашлась! Лена, дай сюда Библию! Ты ее порвешь! Это прабабушкина книжка! Это память! Ты ее – карандашом изрисуешь! Испохабишь! А я ее храню!

Нина, тише. Не груби. Девочка в другом мире. Ты не видишь.

А ты видишь?!

А я вижу.

Перламутровые клипсы в черноте спертого, теплого, надышанного тысячью ртов и носов, пропитанного дорогими и дешевыми парфюмами, терпким потом и запахом бархата и шоколада воздуха выблиснули внутренностью мертвой перловицы. Синий, розовый свет заиграл на смуглой цыганской щеке.

Крюков наклонился ниже, еще ниже. Чтобы коснуться щекою щеки.

Коснулся. Ударило током. У Нины плохой характер. Она взрывчатая, вспыльчивая, сердитая. Скандальная. Грубая.

Даже гадкая: иногда. Но когда он смотрит на нее – у него горячо внутри. Когда он касается ее – у него в груди обрывается главная нить, которой сердце привязано к разуму. И все. И он летит. Свободный полет. И только вцепившись в нее, обняв эту смуглянку, он может опять обрести себя.

Нина видела, как его затрясло. Подняла руку. Двумя изящными пальчиками, шутя и кокетничая, поправила угол носового платка, выпирающий, по закону, из нагрудного кармана пиджака.

– Фальшиво? Ну прости им.

– Не прощу.

Дышал тяжело. Дышал ей в шею, в то место, где подбородок через впадину щеки перетекает в скулу.

Не удержался – погладил щеку губами.

Шелк и бархат. Атлас и шифон.

На сцене толстый дядька пополз на коленях к тетке в кресле, царапая, рвя снеговые лосины о занозы и шероховатости плохо покрашенных досок. Выпуклые ягодицы под черными полами фрака, похожими на надкрылья жука-плавунца, смешно и позорно шевелились. Оба, тетка и дядька, раскрыли рты и заорали разом, но разные слова, и поэтому нельзя было разобрать, о чем они поют.

– Колька... Веди себя прилично...

Крюков нашарил Нинину руку у нее на колене, крепко сжал.

– Я устал вести себя прилично. Я устал вести себя. Я не

хочу себя вести.

Он видел: ей лестно. Ей лестна его любовь. Преданность его. Он не святой. У него были женщины. И, может, еще будут: он не старик. Но эта женщина, с черным пушком цыганских усиков над губой, с перламутровыми мочками, с винным ртом, с животом, похожим на мерцающую во тьме скрипку, – она одна такая. И у него от нее дочь. И он знает, что никогда...

Толстая тетка рассыпала из горла множество белых сверкающих хрустальных шариков, они раскатились по сцене, закатились в щели, засияли каплями крови в красных, сонно ползающих по сцене красных кругах. Красные озера. Красные пруды. Красные ручьи. Красная вода хлынула со сцены, катится к ним, к их ногам, сейчас она их затопит. И больше никогда...

– И больше никогда...

– Колька, что ты бормочешь?

– Эй! Товарищи! Имейте совесть!

Крюкова хлопнули с заднего ряда сложенным китайским веером по плечу. Он слегка, вальяжно и чуть надменно, обернулся. Краем глаза схватил натуру: дама декольте, на шее крупные, как зеленый горошек, жемчуга, пышно взбитые реденькие седые кудри. Смахивает на Баха в парике, каким его на нотах рисуют. Крючконосая. Лицо в гармошке морщин. Когда-то была роковая женщина. А нынче – роковая старушка. И живет в коммуналке; и в оперу ходит раз в

два года, когда из пенсии в двадцать восемь рублей на билет накопит. А комнату студенткам не сдает – жалко. Свободы своей жалко. Свободы ночью встать и из холодильника поесть. Ах, он бы написал ее портрет!

– Извините, мадам.

– Я не мадам! Я товарищ!

– Извините, товарищ.

Оркестр грянул музыку неистовую, беспощадную. Все люди на сцене – и молодчики с белыми гладкими ногами, и крестьянские бабы, и солдаты, и дамы в кринолинах, и толстый дядька в лосинах, и сдобная тетка в ночной рубаше – все хором возопили, подняв высоко руки, и люстра в ответ на этот дружный вопль зазвенела, задрожала всеми хрустальными листьями и ягодами. Хрустальная чешуя посыпалась вниз, на лысины и локоны, с хрустальных рыбок. Занавес колыхнулся. Будто думал, двигаться или не двигаться. Люди опустили руки и замолчали, и в молчании надо всеми взмыл одинокий вопль толстого дядьки; он разинул рот так широко, что его верхняя губа коснулась кончика носа, а нижняя упала до ключицы; он сначала тянул длинно «е-э-э-э-э», а потом «о-о-о-о-о», и наконец его дыхание оборвалось, и он, обессиленный, подогнул колени и грузно, мешком, упал на доски, вытягивая вперед короткопалые руки, под струи струнных, гром барабанов и визги медных духовых.

Дирижер в оркестровой яме жестоко, будто голову кому-то рубил, разрезал воздух рукой.

Все замолкли: и люди, и инструменты.

И публика в зале напряженно думала: молчать дальше или уже можно хлопать в ладоши.

Занавес пополз, скрывая от зрителей сцену и все скопление народа на ней. Публика хлопала все сильнее, все освобожденней, все радостнее, все неистовее, все жарче. Люди переглядывались: эх, как хорошо спели-то! Какие у нас превосходные голоса! У нас – не хуже Большого театра! Даром что провинция! У нас – вон какие силы! Ла Скала бледнеет! Вот так тенор, ну и тенор! Цветы ему! Бросьте, бросьте букет на сцену, товарищ! Да ничего, добросите! Отсюда – долетит! Ведь третий ряд партера всего!

Сидящий перед Крюковым широкий, как шкаф, генерал, при всех регалиях, вскочил, как мальчик, размахнулся и швырнул на сцену громадный букет белых роз, мешански перехваченный розовой ленточкой с бантиками. Толстый тенор в лосинах видел, как летит букет, и уже протянул короткие ручонки. Букет не долетел до сцены. Свалился в оркестровую яму. Дирижер изловчился и поймал его на лету. Прижал к груди и сделал вид, что букет бросили ему.

Поднял высоко. Махал розами.

Зал взывал, накатывал аплодисментами. Крюков сильнее сжал руку жены. Она ойкнула.

– Медведь! Пусти!

Руку выдернула. Но он видел: ей приятно.

Что у нее такой муж. Художник. Известный в Горьком.

Ах, только грех один за ним. Тяжкий грех.

Не раз предупреждала: Колька, пить будешь горькую – удержу! Убегу! С одним чемоданчиком!

Он усмехался в русые ласковые усы: попробуй только.

Она подбоченивалась: подумаешь, гражданский муж! Это по-русски – любовник!

Он хохотал: это по-французски, а по-русски – ебать!

Она набрасывалась с кулаками. Он ловил ее маленькие смуглые кулачки в свои красивые большие, мягкой лепки руки, покрывал поцелуями ее запястья и локотки, щекоча усами, и шептал: подерись, подерись, я люблю, когда ты дерешься.

Зал встал. Хлопали долго. Нина подула на ладоши.

– Я себе все ладоши отхлопала!

– Ну вот, а говорила, фальшивят.

– Все хлопают, и я туда же!

– А я что делал?

Изумленно уставилась на Крюкова.

– А разве ты что-то делал?

Он обхватил теплой рукой ее руку чуть повыше нагого локтя.

– А я не хлопал. А ты не заметила, что я делал.

– Ну, что?

Черные глаза Нины отвердели, покатались вбок черными камешками.

– Я набросок тенора сделал.

Вытащил из кармана пиджака пачку «Беломора». Прямо поверх карты русского Севера, поверх тонких синих нитей каналов, вырытых несчастными рабами, толстым плотницким карандашом накинаны штрихи, пятна и линии. Лицо оживало на озорно шевелящейся пачке: раскрытый на высокой ноте рот, страдальчески вскинутые брови.

Нина пожалала плечами. Всмотрелась. Улыбнулась.

– Похож.

– Пошли скорей на воздух. Курить хочу.

– Наркоман!

Повиснув у него на локте, прижалась крепко, властно. Так, в полуобнимку, сквозь веселый душистый цветочный народ протолкались к выходу. Партер гомонил. Народ клу-бился у сцены, в руках букеты. Нина любопытствующе под-нялась на цыпочки, изогнула талию, подняла плечи, пытаюсь заглянуть в оркестровую яму.

– Бедные. В яме сидят. И пиликают. И платят мало!

Сожалеюще погладила красный бархат загородки. Гасли цветные прожектора рампы. Они вышли из зала. Люди бе-жали с букетами в артистическую. Крюков, длинный, вытя-нув шею, тоскливо оборачивался.

– Эх... А мы без цветов... А то бы я пошел... поздравил...

– И запоздравлялся бы. Знаю я эти поздравлялки.

– Нинусик, знаешь, все-таки пойду. Неудобно. Руля мой друг. Он отменно сегодня спел. Я быстро.

Он видел, даже под гаснувшей люстрой, как мгновенно

проступила бледность испуга и ненависти под смугло-румяной абрикосовой щекой.

Отцепилась от него. Стояла рядом. Уже надменная, ледяная. Зимняя.

– Иди. Если я тебе не дорога...

– Ох, дорога! Еще как дорога!

Чмокнул вкусно. Сделал ручкой. Для верности послал воздушный поцелуй. Подмигнул: мол, скоро примчусь, не сомневайся, жди!

Нина спустилась по мраморной, застланной красным ковром лестнице в гардероб. Вслепую нашаривала номерок в сумочке. Одна пялила пальто с каракулевым воротником перед бездонным морем зеркала; никто ей не помогал, не поправлял рукава и мех. Одна вышла в пуржистую, черно-синюю ночь. Квадратные колонны оперного театра пугали египетской мощью.

Она стояла перед парадным входом долго, долго. Мерзла. Переступала на алмазном снегу в меховых сапожках. Потом плюнула на снег и пошла к служебному входу. Там утоптала весь снег. Руки мерзли в вязаных перчатках и в маленькой муфте из золотистой китайской земляной выдры. Воротник подняла до ушей. Шмыгала носом.

Когда на трамвайной остановке обе стрелки сошлись на полночи – пошла домой по рельсам, одна, замирая от страха, беззвучно, губами, шепча бессвязные проклятья.

Коля пришел домой под утро. Долго, тихо стучал. Нина не открывала дверь.

Когда открыла – ввалился, улыбнулся жалко, обдал водочным дыханьем, запнулся за порог, свалился беспомощно и шумно ей под ноги. Сжался. Лежал, не двигался. У Нины дергалась верхняя, в пушке жгучих усиков, сонная губа.

– Прекрати. Вставай сейчас же.

Молчал и сопел. Выдыхал перегар. В легких хрипело. Силился сказать слово. Не мог. Не сумел. Закатил глаза. Замычал, застонал жалобно, щенком заскулил. Нина наклонилась, как над грядкой, и цапнула за руку. Пульс! Нитевидный!

– С-с-сэрдцэ-э-э-э... Сэрд-дцэ, тебе не хочещца... по-коя-а-м-м-м...

Кровь на разбитой губе. Синяк под глазом. Без пальто. В одном пиджаке. Пальто сняли. Прекрасный драп, «Москвошвей». Безумно жалко. Продал картину, и купили пальто. Не ей! Ему. Чтобы выглядеть презентабельно. Собрания, заседания, выставки, вернисажи. Театры. На улице жулики сняли? Тенору – от сердца – подарил? Шубу с царского плеча? Мнит себя царьком, да. Щедрым и разгульным. А она кто тогда? Царская наложница? А может, царская кухарка?

Считала пульс. Глаза округлялись. Метнулась в комнату. Распахнула шкаф. Из открытой двери тянуло сквозняком из подъезда. Коммунальные соседи спали. Не все: сквозь щель из-под двери старухи Киселихи сочился оранжевый, морковный свет. Молилась и жгла лампаду. Старая лагерница. Ни-

на как-то ходила с ней в баню. У нее на груди синяя татуировка – Сталин анфас. А на спине, под чахлыми лопатками, – Сталин с затылка. Тщательно прорисованы пряди волос и стоячий военный воротник. И погоны, погоны.

Босиком пробежала опять в прихожую. Подхватила Крюкова под мышки. Тащила. Медсестра на поле боя. Носильщица тюков на волжской барже. Кто ты? Все что угодно, только не жена.

А может, это и есть жена?

Валялся на паркете. Затылок голый. И шапку стащили. И шапку потерял.

И, наверное, бумажник.

Теперь уже все равно. Проживут на ее зарплату.

Сунула руку ему в нагрудный карман. Он бормотнул неуклюже, медведем за руку схватил.

– Што-о-о-о... э-э-э-э...

И документов нет. Ни паспорта, ни билета Союза художников. Всего обчистили. Как липку ободрали.

Сперва за ноги схватила и ноги на диван взгромоздила. Потом напряглась, поднатужилась, завалила на диван тяжеленный, будто бронзовый, торс. «Будто дрова сгружаю. Рояль на ремнях волоку. Будто... гроб на полотенцах к могиле тягаю...»

Мысли текли и сшибались, яркие, злые. Нина приблизила лицо к Колиному лицу. Прислонила ухо к его шевелящимся табачным губам.

– Р-р-р-резво... прыгаю-у-у-ут... уйдите!.. уйдите от меня... Кыш-ш-ш-ш!.. сгинь, пр-р-ропади...

Выпрямилась. Глядела. Крюков слабо махал рукой. Будто провожал поезд или пароход.

– Сгиньте, пр-р-р-роклятые!.. черти, черные, гадкие...

Отбивался от тех, кто наседали на него. Руку силился в кулак сложить – и не мог. Плевал без слюны. Дул. Плакал. Скалил зубы. Матерился.

– Черти-и-и-и!

Утих. Лежал вверх лицом. Сложил руки на груди. Пиджак распахнут. Рубаха облита вином. Все пили: и коньяк, и водку, и вино, и, может, самогон. Без удержу.

По лицу Нины медленно, обильно сползали слезы. Текли по шее и пропитывали кружевной воротник спальной сорочки. Врач, она поставила точный диагноз.

– Делириум, – тихо, сквозь слезы, сказала она.

Продукты надо было не купить, а добыть.

Достать. Выкопать из-под земли.

А может, снять откуда-то сверху, как подарок – с еловой колкой ветки.

Если ты зазевался, тебе не повезет. Мандарины в подвале выбросили? Успеешь отхватить килограммчик, желтых, пузатых, толстокорых, абхазских, кислятина, ну да ладно, все равно кожицу сожмешь – спирт пробрызнет. Селедку в гастрономе дают? Дают, еще как дают! Евлампия Ивановна

доктору оставила; ох, уж оставила так оставила, сразу три селедины, да каких! Спины толще бревна, жир холодцом трясется! Клялась-божилась: с икрой. Ну, проверим, потирал ладони Крюков, ай, проверим! Нож острый, глаз острый. Зрачок озорно протыкает Нину, кругами, как кошка, ходящую вокруг стола; Нина смеется, Крюков вертит ножом, и он блестит ясно и колко и бьет в цыганское лицо Нины копьями света. Наврали все! Нет икры! Белое масло длинных толстых молок! Мужики, вздыхает Нина. Мужики, кивает Коля. Норвежские жирные мужики!

На разрезе селедка радужно-нефтяная, сизо-сине-алая, с золотыми и лиловыми разводами. Крюков крякает от наслаждения. А водочка у нас к обеду есть, Ниночка, а? А водочки нет. Ну не сердись! Ну я сам принес. Изумительной. Я только рюмочку. И ты – рюмочку! И все! И больше ни-ни!

Ни рюмки, Коля.

Ни дня без рюмки, Нина?

А ты что брови сдвигаешь?

А ты что?

По стенам двух комнат в старой коммуналке – холсты, холсты. Колины картины. Работы смелые, свежие. Опасные. Почему? Для кого? Для тех, у кого власть. А что, власть следит за художником? А как же. Только это и делает. А зачем эта слезка ей, власти? А затем, что у художника – большая, сильнейшая власть: над сердцами. Не над жизнями и головами. Головы легко снимать, эту задачу уже решали, и удач-

но. А вот вынуть ли изо всего народа сердца? Посложнее будет.

Опасный Крюков, пол-литра за пазухой. Идет шатается, поет. И когда картины пишет? Когда успевает? Всюду его пьяным видят. Всюду качается, пожарная каланча на широкой площади. Пьет и пьет, сначала весело, потом все страшнее и страшнее. Ах, селедочка, наилучший закусон! А то еще банку шпрот откроем, старый консервный нож выворачивает кровельное железо наизнанку, хищно, убийственно торчат зубцы по кругу жестяной ржавой крышки. И лежат, мирно спят внутри шпроты – золотые, серебряные, медные, парчовые шпротины, копченые шелковые рыбы, скорбно притихли, лежат штабелями и ждут. Ждут. Когда их съедят. Подцепят на вилку. Отправят в рот. Зачмокают. Размельют крепкими, а может, гнилыми зубами. Проглотят.

Все мы пища друг для друга. Все мы еда.

Мы – рыбы. Другие – рыбаки. Третьи – повара.

А над нами всеми – Главный Повар Страны. Он мешает поварешкой в котле. Вылавливает горячие, обжигающие куски. И даже не пробует, нет; прищурив зрячий глаз, незрячим, сумасшедшим – смотрит, оценивает, раскусывает, дегустирует. Готово – не готово.

И, когда надо, водой заливает огонь.

И пар встает над котлом. И брюхами вверх всплывает все живое, все то, что дышало, летало, плавало и бегало под солнцем, под толщей воздуха, неба и воды.

Картины Крюкова нехороши. Чем нехороши? Это мины, бомбы. Помилуйте, разве искусством можно воевать! Еще как можно. Искусство разит без промаха. А кулаки Крюкова тоже разят без промаха? Да от него разит на расстоянии! Он вечно пьян! Не подпускайте его близко. Он угрожает. Да что вы, товарищи! Чем это он угрожает? Кому угрожает? Тем, кто слабее. А разве он силен?

Сила. Сила кисти. Сила мысли. Сила цвета. Сила смеха. Сила боли.

Боль нельзя обнажать. А Крюков обнажает. Он бесстыден! Он слишком ярк.

Он сумасшедший. Он напился пьяный. Зима суровая. Трескучие морозы. У него мастерская в подвале, в маленьком деревянном, срубовом домишке у самой кромки голубых мохнатых сугробов. Грузовики мимо грохочут. Стекла в рамах трясутся. Нина сидела у зеркала и пудрилась, окуная пуховку в серебряную пудреницу, на ней серебряные широкоплечие крестьянки стоят в хороводе, тяжелые снопы над головами держат, и гравировка: ВДНХ. Розовая, оранжевая пудра осыпалась на колени, на черный шелк платья. Застыла. Глядела на себя в зимнее зеркало. На пороге стоял Крюков, вытягивал перед собой окровавленные кулаки. Торчали костяшки. Синели, белели крепко сжатые пальцы. Разгибались. Дрожали.

Цепким глазом схватывал Нинин профиль, Нинин черный вороной затылок, Нинину шею, обмотанную черными

гранеными кораллами.

Медленно поворачивалась. Медленно шагал вперед.

Медленно вставала. Медленно шатнулся.

Медленно подошла. Медленно разжал кулаки, ему это удалось наконец. Медленно поднял руки ладонями, как двумя красными лицами, к ней.

Нина. Я директору фонда морду набил. После худсовета. Я тебя ножом изрезал. У себя в подвале. И в печке сжег.

Коля, у тебя слезы! Коля, ты весь в саже! Как – меня?! Я вот, живая!

Тебя. Холст с тобой. Ты лежишь. Голая. Мой голый врач. Моя голая жизнь. Перед тобой амурчик держит зеркало. Ты отражаешься в тумане. У тебя лицо плывет, волосы мчатся черной тучей. Глаза горят и смеются. Ты моя. Ты – навек. Я сжег тебя. Ха! Ха!

Коля, ты же голодный! Коля, ты есть хочешь?

Я ничего уже не хочу. Ничего. Они сказали мне: Крюков, это талантливо. Поэтому она не должна жить. Я сам убил тебя.

Медленно обнял Нину окровавленными руками, пачкая платье; на черном шелке кровь не видна. Выпустил птичку, раскинув руки. Медленно сел на порог, как бродяга, калека. Обхватив голову руками, качался взад-вперед.

Коля! Что с тобой будет!

Меня отовсюду выгонят. Намаешься ты со мной.

Его исключили из Союза художников. Заклеймили как могли; с трибуны ругали пристойно и важно, а в зале – по матушке. Избитый директор художественного фонда Каштанов, позорно, смешно вымазанный йодом и зеленкой, показывал на Крюкова пальцем: в суд подам! в тюрьме сгною! Пудреница перевернулась, солнечная пудра вся высыпалась на паркет. Нина плакала и тихонько, по-собачьи, подвывала. Картины теперь нельзя было отдавать в фонд на закупки. Преподавать не мог и не умел. Устроился в парк, малевать плакаты. На завод пошел, оформителем. Отовсюду гнали за пьянство.

Плакаты, плоские деревянные щиты, слишком красные, слишком кровавые! Слишком огненные – краска пальцы обжигает, прожигает во лбу дыру насквозь. И в дыру свищет неприютный, угрюмый ветер. Мастерская горит! Как горит? Почему горит? Коля, ты что, спятил?! Да. Я спятил. Видишь, мозг вылетает из моей головы и вьется по ветру, и летит, кудрявясь, и тает, и густеет, и улыбается, и кривится в диком волчьем плаче. Мозг мой! Огонь мой! Он горит! Видишь, жена, как он горит? Ярко! Издали видать!

Мозг, моя мастерская. Деревянный мой череп. Подслеповатые, подвальные мои окна, тусклые глаза. А я все ими вижу. Все. То, что есть, и то, что будет. Вот только что было, забыл. Память вылетела птицей. Усвистала выюгой. Нет ее больше со мной.

Он, с вытарашенными глазами цвета льда, обмотал себе

голову паклей. Из окон, торчащих из-под земли, из-под наваленных слоев снега, вырывались пламя и дым. Черный дым клубился и распухал, ветер жестоко рвал его, разрывал на черные погребальные лоскутья. Красное пламя лизало стекла, они трещали и плавилась. Там, внутри, горели, пылали его работы. Двести его полотен. Двести холстов, замазанных яркой, ослепительной краской. Так красить мог только он! Крюков! В целом свете! И более никто! Никто, вы слышите!

Буянили. Пили. Курили. Бросили окурок. Затлел картон. Пламя, как песню, подхватили составленные штабелями холсты. Подрамники весело, дробно, мелко трещали, искрили, буйствовало косматое лисье пламя, голодно, хищно поедая щедро, богато раскрашенную любовь, рубиновую, мясную, дымящуюся жизнь, воронью безглазую смерть. Вот это – было! А вот теперь его уже нет! И так всегда. Жизнь моя, неужели и ты сгоришь! Навек! Навсегда! И крошки не останется, и капли! Краски мазка!

Мозг, где ты? Под волосяной крышей. Под деревянной матицей Под подвальными чадными сводами. Здесь, в старом как дырявый кафтан доме, у меня вчера была мастерская. А нынче она горит. Картины обратились в дрова. Все уходит. Вот сейчас, на моих глазах. Огонь! Батарея! Пли! Мы победим врага! Мы...

Это плакат. Всего лишь плакат, халтура, бездарная фанера, на ней бодрый рабочий, под ним квадратные красные буквы: ПЯТИЛЕТКУ В ЧЕТЫРЕ ГОДА – ВЫПОЛНИМ! Ты

набивал этот шрифт по трафарету. Вся жизнь набита Богом по трафарету; а еще говорят, что Бог – художник. Витя! Мишка! Куда вы! Собутыльники проклятые! Покинули меня! Разбежались!

Это не вы швырнули за подрамники тощий бычок. Это я сам себя поджег.

Я – свою жизнь – нарочно поджег.

Потому что я устал так жить.

Я так жить больше не могу.

Не могу писать по приказу. Отдавать рапорт. Любоваться тем, что мне противно. Жрать то, от чего меня рвет. Хвалить то, что хочу обматерить. Презирать то, перед чем благоговею. Ненавидеть то, что люблю больше жизни.

Я – больше – не – могу!

Глядя на рвущийся из окон, из рам бешеный огонь, с башкой, обмотанной серой волчьей паклей, нащупал в кармане брюк спичечный короб, вынул. Вытащил спичку. Чиркнул. Могучие спины звериный сугробов светили в ночи, подсвечивали голубым, сизым, серебряным светом его кулаки, его подбородок. Его лысина высывалась, сияла из-под пакли медным яйцом, дном перевернутого рыбацкого котла. Под звездным небом его лысина – выгиб чужой земли, безумной иной планеты. Голова. Человечья голова, и пакля на ней. Вокруг нее. Как венки. Венец. Серая корона. Сейчас станет жаркая, золотая.

Защитил спичку от ветра согнутой ладонью. Вбросил ру-

ку к виску. Будто спичкой – себя – в висок – расстреливал. Огонь вцепился в паклю мертвой хваткой. Быстро, живо и жадно переполз с деревяшки на спутанную шерсть. Ни одного собутыльника рядом. Никто не протянет живительную бутылку. С горлом изящным, как у королевы Марии Стюарт. Ей отрубили голову; значит, она уже никогда не сойдет с ума.

Пламя обняло его лысую голую голову. Он поднял руки. Звезды пристально смотрели на него. Радовались ему. Изумлялись ему. Так, высоко взбросив руки, он, вышагивая широко, упрямо, журавлино, безумно, слепо, яростно, пошел по улице Карла Маркса, побежал, и мотало его из стороны в сторону, вертело, колыхало, еле удерживался он на ногах, но сухие длинные деревянные не подводили, не давали упасть; пьяный, а держался, безумный, а хохотал над всеми умными, гадкими, стерильными, холодными, ледяными, бездарными. Огонь! Ты мой талант. Огонь! Ты моя вера. Ты мое счастье. Безумье! Ты моя единственная опора. Ты моя клятва. Огонь, крепче обхвати мою дурью башку. Я коронован! Я царь зимы! Я живописец огня! Пламя – кисть моя! Я пишу по белым холстам диких сугробов пожаром пьяного, бедного сердца своего!

С обмотанной горящей паклей головой несся по улице, и жители, что ночью не спали, в страхе прижимали руку ко рту, наблюдая в окне бегущего вдоль сугробов человека с огненной головой.

Бежал. Угорь черной улицы юрко, хитро ускальзывал из-

под ног. Я жизнь, как уголь, кину в раскаленный садок огненной радости, яростной печи. Да, я напился вусмерть! Да, сорвался с катушек! И вы, вы не кормите меня лозунгами и цитатами! А ты, Нина?! Вижу тебя за сугробом. Не прячься. Вон ты стоишь, вижу, и дочь держишь за руку. Прочь, чертово мое святое семейство! Я – свободен. Я – сам по себе! Я сам себе художник! И я еще... напишу! Я все видел. Войну. Мир. Смерть. Уродство. Красоту. Я сушил, как мокрое белье, как простыни и трусы после твоей великой стирки, о Нина, свои холсты!

Я слишком долго писал, что – заставляли. Я хотел то, что велели хотеть. Я давал свое тело, свою душу на растерзание, под пытки: нате, жрите меня, вороны, клюйте печень! И старались царские малюты. А я все не умирал! И мои друзья – нет, не умерли!

Мы жили. Мы – выживали! В табачных подвалах. На кухнях, близ ящичков с очистками, близ печек, полных сизой жаркой золой. Мы эскизы жгли, чтобы согреться: в блокаду, в голодуху. И к нам, спящим на калечных кроватях без простынь, на матрацах, проткнутых острыми ржавыми пружинами, сходила с небес Сикстинская мадонна и нежно, пьяно, неслышно, впотьмах целовала нас.

Днем – малюй призывы! Крась плакаты! Крась огромного, на полстены, Вождя с мощными офицерскими усами! А ночью – пей.

Ночью – пей! Вот оно, древнее, горькое вино. Дешевое.

Самое дрянное. За рубль. За полтора. Ссутулься за разошедшимся столом. Обними за жесткое плечо тощего натурщика в тельняшке. Стисни кулак. Человека к себе – притисни, прислони. Ощути его мгновенное тепло. Он же к тебе пришел – копейку заработать! Дай ему тощий серый рубль – за то, что он сидел с тобой, напротив тебя. И ты малевал его полоумным огнем.

Железное царство. Стальные кремни. Мы – живы! Это – главное.

Это?! А может, другое?!

Улица. Синий воздух. Моя мастерская горит. Моя голова горит. Мой мозг горит, течет расплавленным воском, горячей смолой. Красной лавой. Течет по шее, по груди, по ключицам, по животу. Рубаха прожжена. Пиджак сожжен. Порты зажжены, и ноги мои тоже факелы. Орущая и ревущая зима вокруг меня. Она тоже горит. Ей больно!

И я бегу по горячей зиме. Я прожигаю снег горящими ступнями и зажигаю его. Из синего он делается оранжевым, потом алым, потом багряным. Вы! Звезды! Что там еле теплитесь над лысиной моей?! Еле мигаете?! Слепые дуры! Выколоть вас! Ножа нет! Обкручена лысина светом, гигантским пылающим бинтом! Моя голова – сплошная рана. Я забинтовал ее огнем. Я больной? Значит, живой! Я не машина! Не железяка! Не подшипник! Не шестеренка! Не шестерка! Слышите, я не шестерка!

Что было прежде? Сгорело. Что потом? Не знаю.

Я горю здесь! Пылаю – сейчас!

Я безумец. Я все понял. Я горящая пакля. Я горящий холст. Я горящая печь. Я трещу на морозе, пляшу. Поднимаю в пляске ноги и руки выше, еще выше! Огонь, душа моя! Выжги мне последнюю память! Голодную память! Сожги во мне сытость! Я не хочу быть сытым! Не хочу жирно урчать и сладко дремать! Я хочу быть! Я хочу знать! Я хочу – стать! Я хочу – гореть! Я хочу... умереть...

Тени прохожих шарахались в ночную синюю парчу, в гранаты и жемчуга царских сугробов. Пакля пылала. Крюков бежал, ловил мороз ртом, задышался. Ожоги? Залечу не сливочным маслом – краплагом красным. Белилами цинковыми замажу!

Окна глядят на меня. Окна думают: вот юродивый. Быть сумасшедшим в стране рабов – прекрасно! Это не улица, гнилая, затхлая, нищая. Это черный, туго натянутый холст, и зимний снежный подмалевок, и яркие мазки радужных алмазов в лунном свете. И я мажу, мажу по холсту самим собой. Горящей яркой, больной своей головой.

Крюков на бегу сунул руку в карман пиджака. О, бутылочка! Вот она, родимая. А он думал – он нынче сирота! А он – именинник: беленькая с ним!

Содрал зубами затычку. Зачуял затылком радость огня. Услышал вопль боли. Это он сам кричал? Или черное, в искрах, небо, обрушиваясь, плакало и вопило над ним? Остановился. Закинул голову. Придвинул горлышко к жадным

сухим губам. И вздох – из горла – на ночном ветру – на морозе, во вьюге – пил, глотал, вбирал, вдыхал, выпитывал, в себя вливал: все, что любил – все, что помнил – все, с чем заранее, нынче прощался: праздники и слезы, пьянки и поцелуи, жар женского тела в оснеженье небрежно наброшенных мехов, вопли метельной жалобной шарманки, и всегда этот снег, и опять этот снег, в зимней стране мы живем, – и лязг горячего грязного цеха, и рыбалки на дальних озерах, где медные круглые караси на кукане, где дурманные нимфеи плывут по смоли тихой гладкой воды, и кумашные реки, алые разливы кровавых плакатов, под коими жил, под коими все они жили и умирали, и глаза молодых калек, помнящие ужас фронта, и разверстые пасти могил, и льды, где шел его ледокол, сторожевой корабль, по Северному морскому пути, и пески, что жгли босые пятки, – он пил и пил всю жизнь, закидывая лицо к небу, и пустела бутылка в кулаке, и было чувство ему, что стоит он на холоде голый, и пьет огонь, и огонь обнимает его крепко и страстно, и он предается огню, отдается ему, как отдавался любимой, ее шепоту и сердцу, ее рукам и животу, текущему раскаленно, красно, самозабвенно, яростно, под звездами, в бесконечной, как смерть, многоглазой ночи.

За его плечами, далеко, во тьме, догорала радость.

А когда он допил бутылку, пришел ужас.

И обхватил его крепко; и уложил на снег; и поборол его.

За тонкой коркой ледяного стекла раздался свист. Парни подгулявшие? Жулики-домушники?

И еще, и еще раз.

Нина встала осторожно. По черному, глаз выколи, коридору прошла на кухню. Примусы и керогазы молчали. Нина намочила полотенце под краном. Отжала воду. Тихо вернулась. Обтерла пот с висков Коли. Свернула полотенце наподобие сдобного рулета и положила на лоб. Высокий; выпуклый; огромный; медный, до того загорел летом – на набережных, на пляжах, рыбалках, на волжском ивовом, песчаном берегу.

Крюков промычал грозно, непонятно. Умолк. Нина слышала его прерывистое дыханье. Видела – из-под дергающихся век – серо-синие лунные белки. Страшно; а вдруг сердце остановится? Она врач. Она слишком хорошо знает, как это бывает. Быстро и просто.

Склонилась в ночи над ним. Волосы выскользнули из-под шпилек, воткнутых в пучок. Упали вдоль шеи, мотались черным флагом под щеками. Ниже, склонись ниже. Господи, какие синие губы. Пульс с перебоями. Предсердия не выталкивают кровь.

Клонись, ива, клонись в ночи. Ночь велика. Ночь необъятна. Ночь вберет тебя, проглотит, выпьет до дна; ты сама не заметишь, как станешь легкой и пустой. Ты – рюмка. Николай тебя уже выпил. Кто ты такая? Тонкая стекляшка. Выпили, бросили через плечо, по-гусарски, и разбили. Всем

невдомек, что ты человек, врач, женщина. Ты рюмка, полная водки. Ты уже – осколки. Хрустальные. Позолоченный ободок. Острые грани прозрачной ножки. Как удобно тебя держать. Как легко и весело бросить тебя.

Темнело в глазах. Белело на улице; снег источал свет, исторгал из сугробной глубины синие, суровые лучи, бьющие отвесно вверх. Свет снега скрещивался с огнями фонарей. Крюков пошевелился и издал длинный мучительный стон. Нина погладила его по щеке. Из-под мокрого полотенца по лбу текла тонкая струйка воды. Стекала на подушку.

Нина оперлась локтем о колено. Пригорюнилась. Согнулась; свела полные плечи, спина выгнулась колесом, под тонким шелком платья выпирал тонкий хребет. Нефть волос медленно текла. Седая вьюга за окном тоже свешивала вниз косы.

На круглом столе, укрытом шерстяной красной скатертью с густой бахромой, строго и страшно лежал конский череп. Откуда Николай приволок эту гадость? Со свалки? С бойни? Сказал: мне нужно для натуры. Буду писать натюрморт. А потом на Нину поглядел загадочно, нагло, и вылепил веселыми красивыми, как у ребенка, нежными губами: «А может, с тебя Магдалину напишу». Магдалину какую-то, а при чем тут череп?

Коля всхрапывал. Она не хотела зажигать свет. Порылась в ящике тумбочки. Загремели отвертки, клещи, молотки, гвозди. Под пальцы легла толстая белая свеча. Нина сунула

ее в пустую банку из-под зеленого горошка. На столе валялись спички. Зажгла фитиль; белый парафин оползал, плача густеющими слезами, медленно и скорбно.

Так сидели в ночи: она, живая; мертвый череп коня; дрожащая свеча.

Зеркало отражало их всех, бессонную троицу.

А Крюков лежал мертво, пластом, и иногда вздрагивал, колени подскакивали, в горле булькало, и он захлебывался диким, непобедимым кашлем. Нина вытирала ему слюну в углах губ.

И вдруг он встал.

Встал, как и не валялся, теряя силы, в белой горячке!

Глаза видели и не видели. Рот подергивался, сияясь улыбнуться. Он раздул ноздри. Он был уже не он, а кто-то другой, страшный, дикий, гадкий. Вращал глазами, искал. Зрочки натолкнулись на нее, сгорбившуюся в изголовье дивана на скрипучем табурете.

– О! А!

Нина не успела отшатнуться. Кулак Крюкова размахнулся. Он всегда бил метко, четко. Это кулак, дурак, промазал. Рука ему не повиновалась. Но знала: ударить надо. Костяшки пальцев мазнули по скуле жены наискось, сверху вбок и чуть вниз, зацепили и содрали кожу. На скуле, ниже виска и выше щеки, вздувалось красно-синее пятно.

Нина вскочила. Лягнула табурет. Он с грохотом откатился в угол. Крюков набычился и попер на нее. Шел неумоли-

мо. Наваливался. За ее спиной было лишь окно. Прыгнуть?! Локтем разбить?! Второй этаж. Он сейчас меня убьет. Если он убьет тебя, он убьет и себя!

Ты же видишь, он ничего не сознает. Он безумен.

Брось! Все психи очухиваются, когда совершат непоправимое. Он будет плакать! Горько плакать! Но он ничего не вернет! Ничегошеньки!

Мужчина замахивался и ударял. Но женщина теперь уворачивалась. Кулаки колотили нищий дырявый воздух. Крюков еле держался на ногах. Бил – и чуть не падал. Мимо – и чуть не обрушивался на мебель. Вот он уже рядом с зеркалом. Сейчас ударит. И попадет не в нее кулаком. В зеркало. Зеркало разобьется. Крупные осколки изранят ему руки, шею, лицо. Он схватит один такой осколок. И пойдет на нее, зажав стекло в красной руке. И острие будет искать ее горло. Ее... грудь...

– Колька! Стой! погоди!

Она кричала – он не слышал.

Замахнулся. Она, дрожа овцой, заслонила зеркало собой. Откуда нашлись силы? Ударила его по бьющей руке; потом оттолкнула, как мать выталкивает из огня дитя. Крюков упал спиной на подоконник. Захрипел. Может, он сломал позвоночник. Нет. Ходит и стоит. Цел. Сейчас он мне устроит концерт! Орать нельзя. Ночь. Соседи. Они вызовут милицию. Это пятнадцать суток. Там он будет голодать, и над ним будут измываться. А она будет таскать ему обеды в судках.

– Не надо!

Вскинула руки. Ринулась от зеркала к столу. Свеча горела. Череп сиял изнутри. Хохотал над ней. Жена пьяницы. Ну и что. Все живут как могут. Ей достался такой вот мужик. Лечить надо! Или не надо?!

– Не надо! Прекрати!

Мужчина шарил разъяренными руками по подоконнику. Под руки подсунулась живая кастрюля. Она кипела и свистела, горячая, пар клубился из-под крышки. Бешеная кастрюля, я тоже буйный. Откуда ты? С кухни? Нина суп сварила? А, мясо! Теленочек нежный! Ребеночек коровий! И тебя люди убили; и разделали; и из тебя суп сварили. Вкусный; наваристый; хлебают да облизываются. Вот вам, бессердечные! Вот вам, сволочи! Вот вам всем – ваш – идиотский – жирный – да с лаврушкой – кровавый – скотский суп!

Крюков схватил кастрюлю обеими руками. Нина рванулась, вскинула руки, будто поезд на рельсах останавливала. Поздно! Кастрюля полетела в Нину. Нинка, ты вся, целиком, отражаешься в зеркале! Ты – зеркало! Я тебя разобью!

Метил в проклятое зеркало, а попал в стену. Гулко стукнул обшарпанный алюминий о штукатурку, о старые доски. Суп выплеснулся разом, весь, огромный кус мяса вывалился и шлепнулся у ног Нины. Жижга стекала по обоям: только переклеили, летом ремонт делали. По мещанским розочкам, по пошлым виньеткам.

Густо, вкусно запахло пряностями, вареным мясом, укро-

пом. С стенке прилипли луковые разваренные пряди. Крюков шагнул вперед и грубо наступил на мясо. Поскользнулся. Страшно, громко рушился на пол, хватаясь за дверцы шкафа, за кисти скатерти. Свеча поползла вниз и рухнула на паркет. Лошадиный череп упал и треснул; он раскололся на две половины.

Огонь медленно, вкрадчиво взбирался по шерстяным красным прядям вверх, все выше, и выше, и выше.

Крюков лежал на полу, животом вверх, выставив в разные стороны колени, как громадный человеческий кузнечик, и мелко трясся, и плакал. Дрожал, как на морозе. У нему возвращался он сам. Жалко. Люто. Плохо. Жутко. Жадно. Жгуче.

Он, лежа на полу, повернул лицо и окунулся щекой в горсть вареного лука и картошки.

Обхватил лысину руками.

– Ой-е... Ой-е-е...

Рыдал уже в голос.

– Ниночка-а-а-а-а... спаси-и-и-и-и... я боюсь...

Нина на коленях подползла к нему по жирному скользкому, мокрому полу. Обняла его. Пустая глазница расколото-го черепа внимательно, строго, властно глядела на женщину. Плашка паркета тихо тлела: свеча, умирая, лизнула дерево, и оно ответило на поцелуй. Скатерть уже загорелась. Нина бросилась на нее грудью. Подминала под себя огонь. Обожгла грудь, прожгла черное платье. Почему ты дома все время ходишь в черном, как грузинка? И черные кораллы на

твоей смуглой шее?

Потому что я все время ношу траур. По своей загубленной жизни. По тебе, Коля. Хоть ты и не умер, но ты пьешь, а это все равно что умереть. По разбитой своей судьбе ношу.

Скрип паркета. В дверях спальни дочь. Глаза растарашены. Два страха. Два крика. Два огня.

Рубашонка еле коленки прикрывает. Выросла. Быстро растет. Вчера котенок, сегодня ребенок, завтра коза, наглые глаза.

– Мама! Папа опять...

Ты поздно проснулась, доченька. Все уже случилось.

Крюков трясся уже неудержимо. Зубами стучал. Лихорадка обняла его и не отпускала.

– Лена! Открой секретер! Там лекарство! В красной коробке! Дай таблетку!

Дочь малюсенькими кукольными пальчиками медленно, слишком медленно расковыривала неподатливый картон.

– Быстрее!

Белая пуговица. Он опять без сознания. Он ее не проглотит. Не запьет.

Морщась от горечи, Нина сама разжевала таблетку, выплюнула на ладонь, затолкала Коле в рот. Дочь уже держала чайник. Где он был? А, под столом. Жизнь спит под столом, как собака. Не трогайте жизнь, не тревожьте ее. Она слишком похожа на смерть.

Девочка прислонила носик чайника к губам мужчины. Он

зачмокал, кадык дернулся. По гостиной медленно, важно плыл белый огромный кит. Они обе не заметили, как кит из ночи вплыл в окно; стекло прогнулось и подалось, и великанское морское животное вторглось в комнату и заняло ее, и властвовало тут, и царило, и плескалось. Раздвоенный белый гладкий хвост ласково провел по щеке безумного. Крохотные глазки кита не выражали ничего. Он равнодушен к людским страстям. К ничтожным страхам и крикам. Он плывет важно, вечно, велико.

Нина не видела кита. А дочь – видела. Лежащий на полу Крюков затряс головой, зажмурился. Он тоже видел. Выставил обе руки перед грудью. Дай тебя обниму, кит! Ты такой белый! Ты слишком белый! Как кружево! Как мел! Белая постель! Как белая постель, а на ней красное пятно: это ребенка убили в кровати, это у жены опять выкидыш, это охотник выстрелил в птицу, и она упала на снег, в широких и страшных, на полмира, белых полях. Павлин в снегах! Как тебе больно. У тебя в липкой крови зеленая грудка. Дай я тебя поцелую в клювик. Дай тебя успокою. Все живое уйдет, умрет. Павлин, и ты безумен, как и я. Мы братья. Павлин, ты призрак в ночи! Жена, тебе так пойдет павлинье перо! Я убью его ради тебя! Я убил его ради тебя! Все перья выщипал! Они твои! Гляди, какие синие, золотые сердечки, какие глазки, как выюжный ветер мотает их на твоей модной, фасонной черной шляпке!

И шляпка траурная. Нинка, перестань носить черное!

Лена, ты в белом. Вот ты правильная. Белая ночная сорочка. Белая капроновая лента в косе. Ах ты белая обезьяна! Ты не дочь мне. Ты мохнатая белая тварь, ты мыслишь, но не рассуждаешь; ты рычишь и плачешь, ты кричишь и визжишь, а я перевожу твои стоны на людской язык. Дай мне свой смрадный красный язык! Я тебя поцелую в губы. Я дрессировщик зверей. Я защитник обезьян, которых бьют и пытаются. Я художник всего на свете живого. Обезьяна, дай я тебя напишу! На моей новой картине! Обезьяна в ночи! Кто разбил конский череп?! Убью! Всех убью! Павлин! Не убегай! Не стучи когтями по паркету! Ты бесхвостый! Ты жалкий! Обезьяна! Позируй мне! Сядь вот так! Нет, лучше так! Кит, куда ты уплыл! Зачем ты уплыл! Ты уплыл в зеркало. Я тебя там вижу. Твое отражение; а тебя нет. Ты призрак. Я – призрак?! Нина! Где ты! Нина! Нина! Помоги! Нина! Я умираю!

Девочка прижала руку ко рту и присела от страха. Женщина судорожно обнимала мужчину, ее руки ползали по его телу, хватали его за плечи, неистово гладили щеки и лысый затылок.

– Доченька... дай телефон...

Дочь взяла черную коробку и подтянула ее на пружинно выходящем проводе ближе к матери. Нина судорожно, не попадая, втыкала палец в дырки диска. Диск поворачивался с натугой, гремел и кряхтел.

– Ноль три. Ноль три. Скорая. Скорая? Быстрее! Белая

горячка! Заломова, восемь, квартира один!

* * *

Доктор Сур нес свою работу, как черный тяжелый крест, на широких плотных плечах.

Доктор Сур любил и ценил свой черный крест и никому, никому его не собирался на плечи перекладывать.

Доктор Сур был слишком высокого роста. Выше дылды Голанда. Головой дверную притолоку задевал. Руки и ноги как у орангутанга. Всегда не знал, куда девать. Ноги в коленях сгибал, кулаки в карманы совал. Будто мерз и промерз до костей. Люба, насмешливо окидывая его свежей голубишной веселых глаз, пожимала плечами: двигательное беспокойство.

– Доктор Сур, вы что мечетесь? Успокойтесь. Скоро пальчиками на ходу начнете перебирать, как паркинсоник.

– Да я что? Я ничего.

Никогда не улыбался. Огорчался – мрачнел еще больше. Радовался – чуть поднимал нос кверху и глаза прикрывал. Больные боялись его. Врачи недолюбливали. Доктор Сур с самим Голандом спорил и самого профессора Зайцева опровергал.

– Вижу, как вы ничего. У вас лицо дергается.

– А, это. – Крупными руками шутя, как скульптор, поправил, вроде как заново вылепил, поставил на место лицевые

мышцы, пальцами клоунски растянул в улыбке рот. – Так пойдет?

Хохотнул. Люба передернула полными плечами.

– Паясничаете. В вашем возрасте негоже.

– В моем возрасте? Я что, старушка на выданье?

– Доктор Сур, вы с психами сами скоро психом станете.

– Ой, не говорите, моя Любовь. Пора бы уж.

Уселся за стол. Быстро писал в истории болезни. Тыкал ручкой в чернильницу. Перо скрежетало по желтой бумаге, выделанной из сосновых опилок. Чернила брызгали в разные стороны. Черная капля попала на белый халат, расплывалась уродливо, черным толстым пауком.

Люба вздохнула. Она гляделась в карманное зеркальце. Трогала нос. Поправляла золотые кудри за ушами. Сбила шапочку на сторону, как озорной берет.

– А если серьезно? Что нервничаете? Из-за больных?

– Из-за кого же еще. Привезли тут одного. По распоряжению.

– Горздрава?

– Хуже.

Люба вздрогнула всей спиной. Продолжала улыбаться себе в зеркальце.

– Поняла. Что приказали?

– Все приказали. Все что надо. Галоперидол, мажептил горстями. Вы представляете, что он от высоких доз мажептила творить в палате будет?

Люба поежилась под халатом. Почему халат не шуба из модной, недостижимой чернобурки. Почему у нее нет чернобурой лисы, бриллиантового кольца, белого роллс-ройса под окнами дома? Потому что она врач-психиатр. А не дочь, не жена, не сестра Приказывающего.

– Представляю.

– Он все сметет к едрене матери. Об стены будет биться. Койки переворачивать. Больных покалечит. Для мажептила нужен бокс. Бокс! Понимаете! Отдельный!

Люба захлопнула зеркальце. Ее пухлое булочное лицо осело, опало, будто в опару грубыми пальцами ткнули.

– У нас есть боксы.

– Они все заняты!

– Давайте его тогда... в буйное отделение...

– Ух ты! В буйное! Да там в палате – черт знает сколько народу! Тьма! Они его загрызут!

– Санитары привязывают их к кроватям.

– Не на все сутки! Ведь и отвязывают! А что, это мысль.

Ведь он под мажептилом сам станет буйным.

Бросил ручку на стол. Перо острием воткнулось в папье-маше. Сур потер ладонями щеки и лоб.

– Буйные, Люба, это ваши?

– Буйные – мои. Мужики. Из двенадцатой.

– Какая прелесть. Ваши мужики, а мои бабы. Все правильно. Все справедливо. Измените вашим мужикам со мной.

– Я не баба.

– Верно. Вы не баба. Вы врач Любовь Павловна Матросова. Не задавайте лишних вопросов. Ведь у матросов нет вопросов. А почему вот вы меня зовете так холодно: доктор Сур? Так официально?

Люба заталкивала зеркальце в карман. Ее щеки пошли красными пятнами.

– Вас все так зовут!

– А ведь у меня, как и у вас, есть имя.

Один шаг – и он рядом с ней. Взял ее за плечи, как вещь. Глядел мрачно и строго.

И очень, очень тихо спросил:

– Люба. Вы – одна?

Она изо всех сил не опускала глаз.

– Да. Но это ничего не значит.

Шагнула назад, и его руки остались, замерзшие, одинокие, в воздухе. Он обнимал пустой воздух. Усмехнулся сам над собой. Руки опустил, длинные, обезьяньи. Сунул в карманы; большие пальцы наружу. Нервно щупают белую бязь.

– Интервью закончено. Можете идти, доктор Матросова.

Люба доцокала на каблуках до двери, обернулась через плечо и бросила, куском хлеба голодным зимним голубям:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.